

ПРОЗА

Игорь Адамацкий

АПОКАЛИПСИС НА КЛАРНЕТЕ

Высокие белые чистые небеса плавут, плавясь, над степью, рыхлой пряной травой, над горячим дыханием обездоленной скучности, над горьким жаром опустелого пространства, влекутся плавно с комариным звоном за край земли, за приплюснутые плещивые бурные холмы, где ждут, таясь хитростью и коварством, бесчисленные полчища темных от злобы конников.

Егор перекатился на живот, поднял стриженую голову, взгляделся остро из-под выгоревших бровей — сердце скжалось чутким сладким страхом: привиделось, — за дальними плоскими холмами мелькнуло тонкое черное копье с серебристым волчьим хвостом у наконечника. Мальчик осторожно подтянул отброшенную саблю в побитых голых ножнах, сплюнул сквозь выбитый зубгустой слюной в пыльную редкую траву, позвал свистящим шепотом:

— Ящ!

Старый осел не отозвался, он спал в трех шагах, раскидавшись на боку, вытянув изношенные, широкие и в трещинах копыта, равномерно дышал, вздрагивая большим облысевшим брюхом; толстый, обиженно вздернутая верхняя губа обнажала огромные желтые зубы; короткая седая щетина на морде топорщилась; сквозь редкие длинные ресницы полуприкрытого мордино-века проблескивал гневно закатанный под лоб снежно-желтый глаз.

— Ящ! — снова позвал Егор, всматриваясь напряженно в пугливую дрожащую даль.

Осел шевельнулся ухом, сморшил нос, чихнул, открыл огромную пасть и громко, натяжно зевнул.

— Тихо, дурррак, услышат.

Осел не ответил, напружинил живот и морду и, вздев ко-

пыта, перевернулся на другой бок, показав грязную холку, узкую облезлую спину и костилистый хребет.

— Ну скотина! — рассмеялся Егор. — С тобой наворешься. С хода в плен уволокут.

Мальчик потянул из ножен эфес с обломком сабли, осмотрел тупое, в зазубринах, матовое лезвие, привычно небрежно толкнул обратно в ножны, опрокинулся на спину, сжал веки и принялся вочеловечивать недругов, которым отмщение после взросления. Лениво думал, переставляя лики и обиды, и решил, что супротивников у него нет, и тогда равномерно начал подремывать, поддавшись плавящему неясному воспоминанию о будущем, как через годы они с ослом вырастут, и Яшка станет совсем старый, словно ком сухой свалвшейся шерсти, и пойдет на костылях, а у него, Егора, образуется собственная шарманка на широком ремне, а сверху на шарманке гадальная морская свинка вытаскивает из черного ящика серые аптечного вида бумажки с предсказаниями, как у однорукого на базаре, где Егору однажды бесплатным таком свинка вытащила судьбу, — сложные повороты жизни, хитрые тайноходные ужасы, большие удачи и любовь белокурой безмордой красавицы. Очнулся смехом: судьба представилась безмерной и знакомой степью, горячим пустынным небом, настороженными чуткими холмами, а что до белокурой красавицы, — так это когда еще будет, да и на фиг она сдалась. Он пытался увидеть воображаемую принцессу, и выходила либо сказочная золушка, либо дрыгонога трофеинного фильма, длинная, голая и поет по-фашистски. И вдруг он вспомнил и присвистнул: утром должен был гнать корову пастись в заповедник, но забылся товарищами, а после умотнул в степь и, стало, предстоит бабкина дара. А завтра в кино крутят четвертую серию Тарзана, и раз монету не сшибить, тогда нужно сегодня перетолковать с пацанами, как рвануть безбилетным нахрапом, — цепочкой и — пальцем через плечо: билеты у него, — а последнего вышибают за двери: иди, мотай, фулюган. Ты чего толкаешься тетка спятила билеты у первого товарища граждане сироту забыли забыть люди добрые до чего тыловые крысы обнаглели.

Он вскочил, толкнул осла голой пяткой. Осёл, шумно дыша, начал с трудом подниматься. Егор отряхнул ослу бока, по-

чесал за ухом, посмотрел на оплывающие жаром холмы. Вскинул на плечо саблю и, пыля, пошел к городу. Осед тоже оглянулся на холмы и враскачу направился мальчику вслед.

- 2 -

Глубокой предночью сидят они на сухом и теплом деревянном крыльце и не дыша слушают. В прозрачной стоячей темноте ни ветерка, но яблони сада живут самовластно, — то гулко и страшно, чем-то ударит внезапно в землю, — то по ветвям и листьям пройдет скрытое движение и замрет, растворится в полуводе ночи, и далекими белыми островами плавут крупные недвижные печальные звезды. И облака, как мягкие снега тишины.

По времени, бывало, он влекся тяжким гнетом земности, окружаемый, опутываемый мелочными, понятными, неострочными заботами; временами, казалось, это был бег взапыхах сквозь редкий светлый восторженный лес по иссохшей листве, по жухлым вялым травам, мимо стволов вдохновенной солнечной полноты к той поляне, где вердится чудо; или, поддаввшись недолгой усталости и потоку, будто плыл по широкой реке, всякий миг ощущая разлив времени шире пространства, безграничный; иногда казалось, что время — ветер полета, и тогда — в разгон, в захватывающее сильное уверенное движение, и нет преграды, а люди и предметы, и какие-то отстоящие неизбывные переживания, — все косым крылом летят назад, исчезает, втянутое оглохшим от скорости временем.

... и когда они подлетели к этой огромной черной планете, их корабль перестал слушаться управления...

Егор помолчал, и мальчики замерли.

Капитан стоял в рубке, сжимая побелевшими пальцами гладкие рычаги. Его взгляд сквозь стекло усиливался проникнуть искристую тьму и угадать, — далека ли напльвающая снизу громада планеты. Люди стояли за спиной капитана и молчали. Каждый воспоминал землю, куда не суждено вернуться, друзей, — с которыми не выпадет встретиться. И вдруг они увидели: сбоку и снизу появился свет, голубоватый, слабый, как гнилушка пия, и потом этот свет потек вширь, туманный по краям и ост-

рый, пульсирующий, в центре...

Егор примолк, чувствуя, как тихая полнота ночи охватывает незаметно и неслышно отрывает от деревянной ступени крыльца, и все будто дрожит, ускользая.

Мальчики узрели: в глубоком сером сумеречном небе мчалась чёрная комета. Она вспыхнула, раскалилась, расцветилась, рассыпая искры, отбрасывая реку дымного шлейфа, падала, воспламеняясь звездно.

Егор сжал кулаки и зубы, трепеща мучительным восторгом, и выдохнул, простонал:

— Моя звезда...

- 3 -

Однорукий историк, грузный, широкий, огромноголовый, головоголовый, насаживал червя, припасобив крючок на колене, ловко орудуя толстыми пальцами; насадил, плюнул на червя, закинул наживку, положил удочку, посмотрел сбоку на Егора, шевельнул толстым носом, подмигнул:

— Что, победоносец, обскакал я тебя?..

Егор покосился на ведёрко историка, где по-змеиному лениво шевелилась рыба, запыхтел сердито.

Историк лег на спину, закинул за голову одинокую руку, усмехнулся:

— А ты не цыхти. Все одно — тебе выигрыша больше предстоит, ты же победоносец по названию. Вот попадешь обратно в Питер, пойди в Публичную библиотеку, там есть большая старинная книга, а в ней картинка, а на картинке — ты изображен, а у тебя между ног — конь, а в руке — копье, а на земле — пресмыкающийся, тобой поверженный. И написано: "Се Егорий во броне на серу сидит коне держит в руце копие разит змия в жопиে".

Мальчик усмехнулся:

— Зачем он его?

— Люди попросили. Змей много зла делал.

— Ну? Так и Егорий ваш кровь пускал. А кровь — всегда зло.

— Ишь, мудрец не по годам. Чужим умом. А когда сам у рыбы заглотши с жабрами выдираешь — это без крови?

— То рыба, она же безмозглая!

— Не-ет, братец, все, что движется, плавает, ползает, бегает и летает, — мозглое. Без мозга нет движения. У меня там не клюет?

— Не-а, я петушиное слово сказал, вашу поклевку отвлек.

— Ну? — Историк сел и стал смотреть на поплавок, осторожно взял удильщие, быстро подсек, потянул, выбросил рыбину на берег. — Видал?

Мальчик насупился.

— А ты опять не пыхти, — коротко хохотнул историк. — Я — старше, значит, по опыту должен тебя переиграть. Слушай, возьми ее в свое ведро, у меня не помещается.

— Так не делают, — покосился Егор, — вам привалил шанс, вы и берите.

— На всякий шанс свой ресистанс, — сказал однорукий. — Бери, пока не передумал, да наживку насади. Он снова лег на спину, завел руку за голову, закрыл глаза. — Ох, блаженство. Не забудь сплюнуть на червя.

— Знаю не хуже вашего... У, какая ты толстая да сътая. Нагуляла жиру... Ну, тихо, тихо... Где у тебя крючок? Это ничего... остерожненько... вот так... а теперь иди поплавай у меня... Да вы, небось, в городе обратно ее потребуете?

— Куда мне такую прорву одному?

— А жена? Ее кормить надо.

— Она сама ест, — рассмеялся историк. — Да ее и нет у меня.

— Ушла, что ли?

— Это точно. К другому. Он красивый, волосатый, у него две руки. Обнимать удобно.

Егор молчит, потом решает:

— Дура она.

— Это почему? — удивляется историк.

— Красота мужчине ни к чёму. С лица воду не пить, не умываться. Обнимать и одной рукой годится. Вон у вас лапа здоровущая. Как тарелка.

— Не-ет, братец кролик, она не дура. Она — вольный че-

ловек. А я пристрастен к вольности, потому и люблю ушодшую. Видно, мать родимая опросталась баклужником на пленэр. С той поры гнетет интерьер, ограниченный плоскостями.

— Это как — вольный человек? — негромко рассмеялся Егор, не поворачивая головы и уставясь на поплавок. — Делает, что хочет, говорит, что хочет, ходит, куда хочет?

— Зачем же практически понимать? Можно сидеть молча на одном месте и быть вольным человеком. Когда внутри человека так просторно, что горизонтов не видать.

— Ну? — усомнился Егор. — Зачем она, вольная, ушла к не вольному? Чтоб он на ее горизонты плясался?

— Э, милый, женщины — народ своеобразный. Они бывают нескольких типов: прости Господи, дай Бог всякому и не приведи Господь.

— А у вас была — спаси и сохрани?

— Ох, нарець, — рассмеялся историк. — Настрадаешься ты с ушлостью своей. Все учителя про то говорят.

— Так они с горизонтами, вот и обижаются. А вы — вольный?

— Историки вольными не бывают. Их концепция ограничивает

— А я — вольный?

— И ты не вольный. Но можешь им стать при благоприятных обстоятельствах. — Историк помолчал, раздумывая. — Предвижу жизнь твою многосложную, многотрудную, многоповоротную. Биться тебе нескончаемо за волю свою долгие и долгие годы. И меня не станет, и ты взойдешь в мой возраст, в духовную зрелость, а воля твоя будет рядом, да не в твоей власти..

— Век воли не видать! — рассмеялся Егор. — А вы почем знаете?

— Давно за тобой наблюдаю. Характер у тебя такой. Байки горазд байть. К чудесам доверчив. Живешь без огляда. Излишне наблюдателен к людям. Пацаны говорят, комету или звезду приобрел. Это — тоже знак. Кем собираешься быть?

— Сперва взрослым, там посмотрим. Может, вором в законе, может, разведчиком.

— Ну! Вором — скучно, а разведчиком — война три года как кончилась..

— Новая будет. Враг не дремлет. Вы сколько войн в своей истории насчитали?

- Да не одну тысячу.  
- Вот. Значит, и мне достанется.  
- Это точно, - рассмеялся историк. - Тебе всего достанется.

- 4 -

- А-а, Егор Иваныч, Егор Иваныч, мое почтение вам, мое почтение. Ну-у, вырос ты, возмужал за лето, заматерел. По школе-то скучаешь?

- А то нет? Так прямо и рвусь. Во сне вижу, как она горит синим пламенем и никто тушить не устремляется. Так смотрел бы и не просыпался.

- Ох, Егор Иваныч, Егор Иваныч, не сносить вам своего котелка, почтеннейший, ох, чует мое старое сердце. Куда стопы-то намыливаешь?

- Да на базар.

- А чего? Опять стырить что? На старух шухеру навести?

- Да надо маленько разжиться. Мы с пацанами вырыли землянку - во! получилась, на "ять". Теперь, если вдруг дождь, мы - там. Вот и сговорились собраться у базара, прошвырнуться по лоткам.

- А по шее склопочешь?

- Святым кулаком да по окоянной? Нештяк! Я верткий.

- Хозяин - барин. Пошли. Мне тож в ту сторону. Да ты не мельтеши. Я человек старый, мне положено неторопко ходить.

- Ладно... Так вы когда будете логику и психологию нам учить?

- Чего ты вдруг? Придет время - буду, а что?

- Да пацаны из старших классов говорили: во всей школе только два нормальных учителя, - ви да историк.

- Спасибо, почтеннейший, - уложил. А, может, наоборот, другие - нормальные, а мы с историком да и ты с нами - с винта сходим?

- Вам все хаханьки, а я всерьез. Вас за что сюда сослали?

- Во-первых, меня никто не ссылал, а во-вторых, я зада-

вал много лишних вопросов и тем сердил серьезных людей. И ты — будешь сердить меня, я тебя пошлю. Учи.

— Учу, я учтенный. А правда, вы можете всякого человека сразу определить, какой он по характеру? Вон впереди идет один, угадайте.

— Это вон тот? Так он глупый: у него затылок жирный и жадный.

— Почем вы знаете?

— За бесплатно знаю. Он на бойне работает, мясо ворует. Вон и твоя компания на стреме. Ну, валай, Егор Иваныч, развлекайся.

- 5 -

У доктора большие белые руки с толстыми пальцами в редких рыжих волосах, лицо круглое, глаза большие, непонятные. Руки поворачивают Егора, приставляют фонендоскоп, щупают, тычут, тянут кожу, разглаживают, похлопывают, снова поворачивают, открывают рот, оттягивают веки. Егор молчит.

— Ишь, послушный, — скучо улыбается доктор. — А говорят — хулиган. По водосточным трубам лазаешь. Брут?

— Правда.

— Зачем?

— Надо.

— Н-да. Тощий ты, парень. И легкие — слабые. Ну, ничего — два месяца наших воздухов да кумысов, и ты будешь — хоть куда. Пьёши ли черное молоко — кобыльий кумуз?

— Да..

— Разговорчивый. Ну давай, позови следующего. Подожди. Ты знаешь, что я здесь — самый главный?

— Да.

— Так вот: предупреждаю — чтоб мне на тебя не жаловались нянечки, в одиночку в горы не ходи. Что случится — кому отвечать?

— Сам отвечу кому надо.

— Ишь, ответственный. Смотри, я предупредил..

Горы огромные, крутые, чужие, радовали и пугали, отталкивали и притягивали вечноностью своей, неожиданностью цвета,

излома, каскадом форм и плоскостей, бесконечной новизной, — то вдруг издалека станет видна темная и страшная, как ноздря великаны, пещера, то неожиданно вспыхнет в мелкой трещине пучком искр притаившаяся друза хрусталия.

Это было счастье, из которого нельзя было уходить, — добрый близостный покой, покойная доброта, добрая близость — невраждебного мира, — скал, леса, озера, самого воздуха, легкого и прозрачного, сквозь него видно далеко, за самые дальние пределы жизни.

Тучи пришли внезапно, набухшие грозой, невиданной даже для этих мест. Егор едва успел добежать до лесной пожарной вышки, снизу обшитой серыми досками, спрятался, присел у открытого проема на окапку вялой, склоненной травы, не дыша, замер от нарастающего восторга ожидания.

Красные, голубые, белые молнии чиркали наперегонки. Лес то резко открывался на мгновение, бурый, зеленый и черный одновременно, то так же внезапно задерживался непроницаемой занавесью крупного дождя. Хотелось плакать, и клясться кому-то в чем-то и любить всех на свете.

Дождь перешел в редкий мелкий град, затем градины стали крупнее, падали с шорохом и стуком, и Егор выскочил из укрытия и вихрем помчался прыжками по узкой, усыпанной градинами тропинке к санаторному корпусу.

Под водосточной трубой санаторного двухэтажного деревянного дома стояла, прижимаясь к стене, тощая волчица со впалыми боками и вмсячими сосцами, и у ее лап — два лобастых детеныша.

Егор пошел на цыпочках, приговаривая негромко:

— Ну, ты что? Из дома бежишь? Грозы испугалась? Ну, не бойся, не бойся, не бойся, давай вместе жить в лесу? Давай? Я тебя кормить стану, с волчатами в горы пойдем. Ну, чего смотришь, не веришь?

Волчица беззвучно слушала, застыв повернутой краиной головой, потом неторопливо потрусила прочь, уводя за собой щенков.

- Что ты за человечина и что ты делаешь здесь, в темном коридоре? Иди домой. Сегодня музыки не будет. Ты видишь, все ушли, училище закрывается, видишь?

- Слышу.

- Гм, что же ты слышишь? Я тебя давно здесь замечаю, блуждаешь, подслушиваешь. Хочешь учиться музыке? Нет? Тогда зачем приходишь? Послушать музыку?

- Хочу понять, как звучат инструменты и как все получается, и что все это такое.

- Спроси, тебе объяснят.

- Сам хочу понять, куда все это девается. Она не должна исчезать, если умолкает инструмент. Когда все уходят, она засыпает здесь и спит до утра. Я думаю, если внимательно притворяться, можно услышать, как музыка дышит во сне. Тишина и молчание колдуют ее.

- Возможно. Подвинься, пожалуйста. Так. Рассказывай, что же такое музыка?

- Я мало знаю об этом. Ритм? Напряжение? Звучание всего, что есть вокруг? Звучит все. Скамейка, где мы сидим. Стена, на которую смотрим. Пол, скрипящий под ногами. Воздух, которым дышим. И если все это услышать и красиво расположить в каком-то порядке, то получится музыка. Нужно развить в себе чуткость, услышать внутреннее состояние предметов. Слух - это не молоточек и наковальня в ухе. И даже музыка - это не расположение звуков по высоте и длительности. Она не передает всего, что совершается и творится. Это не колебание воздуха, так же как мысль - присловье замысла, и всех оттенков не высвечивает.

- Ого! Теперь я догадался, кто ты. Ученик какого-то класса Егор Иванович, правильно?

- Не хитрое дело, городок-то маленький. А вы тут преподаете историю музыки, так?

- Истинно. Вот и познакомились. А скажи-ка, Егор Иванович, что тебе больше нравится, - оркестр или сольный инструмент?

- Когда как. Весной - оркестр, зимой - инструмент.

- Скрипка, рояль или духовые?

— Вечером скрипка — тихий разговор. Днем рояль — громкий спор. Импровизация. Там все на ходу, только рождается. Пытается перебороть одно другое. Так я слышу, чувствую. Кажется, есть во мне музыка, но ей не вырваться. Никогда. Это ужасно — осознание своей неполноты. Как будто судьба отказывает в праве на жизнь, а за что?

— Ты пробовал учиться музыке?

— Да. Не шей мне, маменька, красный сарафан. Во саду ли, в огороде. Не получается. Иногда кажется, вот-вот поймаю какую-то связь всего со всем, вы понимаете?

— Понимаю, очень понимаю, продолжай.

— Она на меня так страшно действует. Иногда чуть не плачу от звуков. Иногда тянет умереть от восторга. Но нужно избавляться от этого. От этой слабости. Поэтому прихожу сюда слушать, чтобы понять. Я читал книги о музыкантах. Моцарт, Бетховен, Берлиоз, Гайдн, Шопен, Чайковский. Многие их опусы наизусть помню, внутренне проигрываю. Не посчитайте наглостью, но все это в прошлом. Там и останется среди тех людей, для которых, среди которых создавалось. Популярность? Кто из ста взятых наугад людей хоть раз в месяц слушает Моцарта, Бетховена и других? Гениями становятся только после смерти, много после. Можно, конечно, при известной подготовке впадать в экстаз среди мраморных надгробий, но какое это имеет отношение к ритму сегодняшнего сердца? Единственным оправданием было бы существование того света, где все они вместе, на виду, — благодетели, ревнители, страдальцы...

— У тебя есть друзья?

— Много и... никого.

— Так я и думал. А твой знаменитыйдрессированный осел?

— Увы, побрал к Стиксу. Я надеялся, что буду долго... долго горевать о нем, и оказалось, что через две недели едва вспоминал. Мне стыдно, но какое отношение имеет к музыке мое отношение к ослу?

— Не ошибись с плеча... Все в мире имеет отношение ко всему. Ты бывал на наших ученических концертах?

— Бывал. Но если честно, — за них стыдно. Приходят мясные мамы, смотрят, слезаясь умилением, на чистых, в галстуч-

как, крошек, и все как понарошку. Будто играют. А ведь есть, наверное, другая жизнь. Совсем, совсем другая, вы понимаете?

— Другая... Какая она, другая? Вот война кончилась. Теперь долго не будет. Люди все исправят. Всю жизнь исправят. Война — болезнь. К счастью, оказалась не смертельной. Для чего-то целого. Теперь выздоравливаем. И когда-нибудь наступит гармония. Должен же восторжествовать мир? Мир — это гармония ума и сердца. Ты осознаешь, что такое гармония?

— Конечно. Когда ни один звук — не чужой, все — близкие.

— Вот-вот. Но так бывает редко и ненадолго. А все-таки вместе. Сочетание. Соприкосновение. Сопричастность. Страдание. Сознание. Созвучие. Сочленение. Соединение. Создание. Музыка высших сфер. Музыка небес и земли... Человек — всего лишь инструмент в руках музыки: носитель языка звуков. Струна, натянутая временем. От личности — только обертоны. Только тембр. Впрочем, зачем тебе это? Ты ведь не собираешься быть музыкантом? Так я и думал. А ты не находишь, что люди стали более разговорчивы, чем прежде? Да, прости, прежде тебя ничего не было, даже музыки.

— Нужна революция в музыке.

— Ha! ha! ha! ha! Извини, Жан Кристов, это я над собой смеюсь. Революция была. Но музыка ее не услышала. Ты, разумеется, не заражен современностью, и это чудесно, это позволяет тебе сохранить свежесть сердца. Но разве ты, если долго думал, не догадался, что культура всегда отстает от жизни? И если ты размышлял над историей музыки, то почему не заметил, что музыка идет следом за войной? Она определяет и выбирает ритм и гармонию.

— Нет, я вам докажу.

— Согласен потерпеть поражение, но видишь? Сторож обходит владенья свои и собирается турнуть нас на улицу.

— Тогда я провожу вас до дома.

— Ну, воин. Если б знать, за что воишь. Хотя, чем лукавый не шутит? А вдруг новые чувства создадут новые миры — восприятия и — новый язык выражения, а? Это было бы прекрасно. Но не забывай, что за твоей спиной должна быть культура.

Школа познания. Школа идей, но не идеократия, бесплодная и гибельная.

- 8 -

Была масса интересных вещей, было множество интересных вещей, было несколько интересных вещей. Река. Начиналась где-то там и уходила куда-то туда. Берег. Обрывист, — сбегать, спрыгивать, сваливаться, соскальзывать. Другой — песчан, полог, ленив, гладок. Лежать, вбирая солнце, и мечтать, мечтать, мечтать, мечтать...

И когда ты придешь, приползешь, приконьбачишь, пришлендаешь, приволочешься к своему порогу, потому что у тебя только и есть — свой порог, не порог дома, где тебе рады, ждут, приготовили чай, сахар, овсяное хрусткое печенье и смотрят в глаза, и ловят реченья с восторгом тревожным, — хоть все их значение смешно и ничтожно, а порог, за которым ты никому не нужен, не ждан, не слышен, потому что за ним ничто, нечто, не имущее ни вида, ни наименования, когда ты прибудешь наконец к своему порогу, вот тогда...

... вот тогда ты поймешь, что лучшее, чем тебе когда-то удавалось владеть — это мечты. Да простят нам пуританы, что такое ветхое слово, припавшее и шатко и валко из небывших прежних времен, вдруг просунулось в наши счастливые, радостные дни. Говорят, мечтать — пользы воплощенной не ощутить, но и вреда от этого не проистекает. В мечтах душа выстрадывает себя. И где бы от кого бы ты не родился, в каких бы всячесне произрастал, какими бы обстоятельствами не обуславливался, — не этим составляется твоя конечная форма, а тем, что ты изначально установил своим воображением, этими самыми, если природа не обделила тем и другим. Ох, Егорша, Егорша, застенчивый смутьян, ведь даже величия, даже отрицательного, злотворного величия не набирается без воображения. Это она... как ее... детерминанта. Бросает мешок: владей. Развязываешь: ну-ка, ну-ка, что нам подготовили? Надо же! А вот это интересно! А вот еще это! Кто бы мог подумать? А-а, вот оно, самое лучшее!

... вот тогда ты схватишь нежданную, как пасмурк, мысль, что у тебя, предпорожным, мешок порожний — ни одной, хоть

малюсенькой, - самой наизанюханенькой-мечтеники - рассовались по пустякам - а всего остается сделать всего-то сделать все-го один шаг...»

Осень. Октябрь соскальзывает в ноябрь. Первый ледок у берега. Огненной жгучести вода. Праздник-мглава. Бревна. Откуда-то оттуда куда-то туда. От дальнего моста до дальнего моста плыть. Идут гульбой, потом группой, потом нескользкими, потом немногими, потом в воду лезут двое. Кто второй? Он был, этот мальчик, да уплыл. Закрутило, завертело, зацепило, заволокло по жизни, и пропал, пропал, пропал с концами. А если удавалось добить веревку или скобу - короли: два бревна - почти плот, как два пацана - капитаны.

Осень. Июль вплывает в август. Кусты, деревья, цветы, травы, растительность всякая и живность разная - в своем полном цветущем развитии. Наливой ароматом ранет. Трое жадно срывают с листьями и мелкими ветками чужих дерев. Один - четвертый - приталится так, чтоб его тотчас заметить, сидит в кустах, выставив дуло тяжелого духового пистолета.

Лает псина, и вот из дома ползет, шленает рваными ботинками по ухоженной дорожке, переваливается дряблая хозяйка с палкой в толстой руке. Я вас, кричит, я вас, кричит издалека, паразиты. Подходит, видит направленный пистоль, истошно вопит и косолапит к дому. Ну, други, пора сматываться. На крыльце вылезает хозяин с дробовиком с солью, набирает скорость и мчит, как танк, в дыру в заборе. Скатываемся к воде, придерживая пазухи, полные ранета, - плюхаемся в воду - как есть в одежде и плывем на другой берег, плоский, песчаный, ленивый и жаркий. Плодово-ягодный владелец ходит по крутыму берегу, безответно взывая к безответственному сочувствию случайных проходящих, горестно кивая головами. Надирание ушей и отрывание голов - ритуальное проклятие, как и угроза спалить дом с хозяйкой, псиной и дробовиком.

- 9 -

Стой прямо. Не гнись аки стебель на ветру. Держи руки прямо. Смотри в глаза. Да нет, не волчонком, а как человек ответственный. Ответствуй по правде и совести. Зачем довел до обморока учительницу по литературе? Не говори, что у неё

один глаз стеклянный. Оловянный. Деревянный. Молчи. Знаю, что не из-за этого. Ну и что? Историк у нас безрукий, она у нас — безглазая. Отчего? Война. Понял? Повторяю: война. Оставила кого без чего. Что ты смотришь на меня? Ищешь, без чего она меня оставила? Ищи, ищи — все равно не найдешь. Ты глянь на мое брюхо. Видишь? Я вперед такой же, как и вверх. Это пузо. Не улыбайся. Не смей так ехидно улыбаться. Из-за пузца меня не взяли на фронт. И в партизаны не взяли. И я должен был работать в тылу. Не улыбайся, да, в своем тылу, а не в тылу врага. Ну и что? Каждый честно ел свой хлеб. А ты? Ты ешь чужой хлеб. Твоя мать ночей не досыпает, куска не доедает, лишь бы тебя, изверга, накормить, а ты? Зачем ты выпрыгнул в окно? Ведь учительница подумала, что разбилася. Она не знала, что вчера под окно привезли машину свежей земли для школьного сада, а ты? Молчи, я сам скажу. Ты просил ее не разбивать стихотворение Пушкина на три части. Ну и что? От стихотворения убудет? Хоть на сто частей. Нет, на сто не получится. Ну, на десять. Пусть разбивает на здоровье. А ты? Ты пойми — я должен тебя из школы исключить. Это из нашей-то школы! Имени... даже вымолвить страшно. Я тебя исключал? Исключал. Почему принял? Из-за слез многострадальной матери. Не ухмыляйся. Не матери-родины, а тебя родившей страдалицы. Фронтовички. Боевого медика. А ты? Забыл? Кто притащил в класс немецкий "вальтер"? Может, я? Кто рисовал на досках оскорбительные карикатуры? Может, снова я? А кто тебе за счет государства осенью предоставил штаны, ботинки и пальто на вате? Это был я — директор замечательной школы имени... даже вымолвить страшно. Что мне с тобой делать? Отвечай. Молчи, не отвечай, все равно ничего путного не скажешь. Ты должен завтра перед всем классом просить прощения у учительницы. То есть как — "не даст"? Попроси — даст. Ты чего ухмыляешься? Ну, нахал, ну, нахал. То есть как — "больше не будешь"? Ну, знаешь, со мной у тебя этот номер не пролезет. Все. Мое терпение к тебе лопнуло. Ты что оглядываешься? Ищешь клочки терпения? Все. Убирайся. На воскресенье я тебя из школы исключаю.

Серое лицо. Темные мешки под глазами. Резкие морщины у носа и у губ. Короткие редкие волосы спутаны. Глаза тусклы, негладкие, шероховатые. Большой кадык, как согнутый палец, выпирает из горла. Сидит в качалке. Ноги в щерстяных носках.

- Рассказывай, Егор Иваныч, что происходит в жизни. Что интересного в школе. Как продвигаются твои психологические упражнения.

Егор напротив, важный, в широченном кресле.

- Тебе сколько сейчас, шестнадцать? А я, вишь, прихворал. Видно, подходят мои сроки к пределам. А ты - живи долго, может, какие перемены уэришь.

- Напрасно вы так. Выглядите вы совсем неплохо.

- Это мы с тобой притворяемся, этикетчиаем. Живут со- противлением. А во мне сопротивление на исходе. Кто не вы- держивает - уходит. Пока не уходишь - стой на своем. Было такое древнее мировоззрение - стоицизм.

- Читал.

- Так вот. Это самая практическая философия. С нею у- неха, конечно, не добьешься, но зато в любых передрягах чув-ствуешь себя достаточно уверенно. Так вот. В тебе этот са- мый стоицизм есть. Ты его не теряй, а накаливай. Он тебе пригодится.

- Что такое - успех?

- Иль ты, любишь простые вопросы. Успех - то, к чему ты успел. Попал во время в кино - успех. Изобрел вовремя ве-ческий двигатель - снова успех. Удрал вовремя от преследова-ния - опять же успех.

- Если не успел?

- Тогда - огорчение. Когда егорчения набираются - получа-ется несчастье. Хроническое несчастье - горе. Его у человека сразу в лице увидеть можно. Смотри в лица. Наблюдай. Со-бирай опыт. С опытом сподручнее, приемистее. Будешь знать, как с людьми обходиться. Тонкий материал. Потянул сильнее - лопнуло. Пережал - сломалось. Отпустил - совсем потерял. На-

капай-ка лекарства, того, что в темной бутылке.

Егор встает, идет к круглому столику, капает лекарство в рюмку, доливает водой из толстого, тяжелого графина, подает учителю, тот, прикрывая глаза прищужшими красноватыми веками, пьет с отвращением, глотает, отдает рюмку, Егор ставит ее на стол, садится в просторное кресло, слушает.

- Плохо, у вас детей нет. Обиживали. Воды подать или что.

Учитель засмеялся булькающе, в горле клекотало, вспенивалось.

- Что ж я за дурак - ради стакана воды жить. Нет, миленок, у человека всегда есть запасной выход. Если совсем невмоготу.

- Это страшно - умирать?

- Испытаю - скажу... Я пока один шаг делаю навстречу косой. Может, еще и передумаю, и назад пятками. Вот так. У нас - просто, у стомков.

- Правильно. Мы еще с вами должны по городу походить, людей поугадывать.

- Вивос-воко. Ты-то сам работаешь?

.. Да, наблюдаю лица, мимику, как они ноги ставят, руками двигают, как улыбаются. Интересно.

- Еще бы. В нем загадок до конца мира хватит. И на потом останется. Самому человеку себя никогда не познать, потому что он внутри себя. Разве кошка может сама себя познать до конца? Не может. А пчела? А муравей? А муха? Так и человек. Это он сам себя самозваню в цари природы определил. А теперь эта бомба.

- Ужасно, - сказал Егор, - теперь воевать нельзя.

Учитель снова заклекотал смехом.

- Перед первой мировой войной газеты в Петербурге писали, что война невозможна, поскольку изобретено такое страшное оружие, как пулемет "максим". Но тебе бояться рано. Страх, как и недуги, накапливается с возрастом. А пока живи бесстрашно.

- Но неужели жизнь все-таки когда-нибудь кончится? Это значит, что бесполезно вообще что-нибудь делать, и можно жить кое-как.

- Кое-как скучно. Вот ты - зачем родился?

- Откуда мне знать? Случайно, наверное.

- Нет, милый, если наверно, то не случайно. Случайности природой не предусмотрены. Случайно можно только кости ли в сторону откинуть, если камень на голову свалится. А рождаются не случайно. Во всем живом свой великий смысл заключен. Надо его высвободить. Угадать. Угадаешь — живешь, не угадаешь — вдашься.

- А вы? Угадали свой смысл?

- Ишь, чего захотел. Это мой секрет. С ним и на тот свет пойду.

- Это неправильно. Нельзя истину хранить в тайне. Она плесенью покрывается. Надо ее другим раскрывать. Мне, например.

- Хитрец ты, Егор сын Иванов, жук настоящий, жук-притвора. Ты не поджуживай, все одно — тебе смысла своего не раскрою. Ни за какие пятаки.

- Не очень и хочется. Сам докопаюсь. И, может, ваши смыслы опровергну.

- Докапываться — занятие хлопотное, опровергать — суетное. Как докопался — так и за голову схватился, как опроверг — так и в ничтожество впал. Ничего окончательного — вот самый животворный принцип. А вообще опровергать — интересно. Эх, кабы мне сейчас лет на дцать назад по времени — ух бы я наворочал. Век бы потом не расхлебали. Впрочем, и без меня наворочали. И тебе хватит — хлебать не перехлебать. Так что готовь ложку, Егор сын Иванов.

- 11 -

Однорукий историк, широкий, довольный, так что загорелая лысина сверкает, насаживал червя, приспособив крючок на колене, ловко срудя толстыми пальцами; насадил червя, - плечнул на него, закинул наживку, положил удочку рядом, посмотрел сбоку на Егора, подмигнул:

— Что, победоносец, обскакал я тебя?

Егор покосился на ведёрко историка, запыхтел сердито.

- А ты не пыхти. В это время дня нельзя пыхтеть. И не завидуй. От зависти печень разболевается. Тем более это наша

последняя рыбалка.

- Может, еще встретимся, - сказал Егор, не веря словам.

- Кто тебе сказал, что люди встречаются после расставания? Если это и бывает, так они не те, что были прежде, и, как обычно, не находят ни темы для разговора, ни желания продолжать знакомство. Они другие, ушли по другим тропам, и нет им единения, все у них в прошлом. Страшное оно - прошлое. Вся человеческая память - скорбный мартиролог. Человек помнит умерших, давних и недавних, гораздо в большем количестве, чем живых своих современников. Нет, победоносец, если мы расстанемся с тобой, так всерьез и надолго. Тебя ждет новая жизнь, меня - скитание по скитам.

- Как это?

- Обыкновенно. Корней я в землю не пустил. - Стало быть, и цепляться не за что. Вот доработаю до учительской пенсии, котому на плечо и - подел по святой Руси, гой тебя еси. Во всех старо-русских городах побываю, потом и до Сибири доберусь. Очинь на меня жизнь заинтересовала.

- Везде одно и то же.

- Кто тебе это начирикал, что везде одинаково? Однаково, да не однообразно. Во всяком городе свой образ бытия. История не великими людьми и не великими событиями творится. Как песок, она собирается по кручинке, по словечку, по каждой отдельной жизни и смерти накапливается.

- Раньше вы так не говорили.

- Вы были ученики, не полагалось вас смущать сомнениями. А ныне разлетаетесь, соколы. Теперь можно и пооткровенничать.

- Так вы не верите в правоту своего предмета?

- Что значит - "не верю"? Историю понимать можно, иногда - чувствовать, что вот-вот совершается или совершился нечто важное, и если повезет, можно угадать, какие события и как сплетутся в будущем. Как эти события выйдут на тебя, какой стороной обернутся. Я и до войны был историком, собирателем фактов и мнений о них. А в войну в пол-Европе побывал. В полумертвой Европе. Это было странно. И даже такая гибнущая цивилизация все же была цивилизация. И больнее всего было видеть надежду в глазах людей. Я-то знаю, что

когда история начинает свой неспешный железный ход, первой гибнет надежда. Тут одним стоицизмом, как учит наш друг — психолог, не обойтись. Можно, конечно, обойтись, для домашнего употребления. Этакий карманный стоицизм. И тогда приходит великая, великая тоска. И тогда наступает день испытаний, ночь испытаний, жизнь испытаний... И тогда догадываешься, что никакой истории не существует...

— Вы казались мне таким сильным, таким оптимистом. У вас было точное крепкое слово, оно уверенно раздвигало наши спутанные, вялые мысли и укладывалось на нужное место. Вы разрешали наши сомнения...

— Э, погоди, Егорий. Как раз я и не разрешал вам никаких сомнений. Всей правды все равно вам не говорил, потому что не знал ее, и посейчас не знаю. Ваши сомнения... Мне были ваши сомнения, так я всю жизнь чижиком насвистывал бы. Разве же это сомнения? Сомнения, как говорит наш друг психолог, это осадок разочарований. Разочарование — это разоблаченное очарование. Очарование — воздействие чар, результат чуда. Чудо — следствие избыточного воображения. Избыточное воображение — есть талант, данный не всякому. Следовательно, сомнение — удел немногих. Вот ноживешь несколько, накопишь осадка, тогда и говори про сомнение. А с возрастом, может, вся твоя душа будет из одного осадка состоять.

— Сомнение, — сказал Егор, — сопряженность мнений, существующего и несуществующего. Пограничная полоса между реальностью и нереальностью. Некий мираж действительности. Предромантизм...

— Предромантизм, — повторил, сомневаясь, историк, — хм! хм! Одна нога уже оторвалась вверх от почвы, а другая еще плотно прилегает. Ты живешь надеждой далекого дня. Ты романтик. Это, как масть, на всю жизнь, масть не сменить. Хочешь — не хочешь, а выбора у тебя, парень, нет. Если не сольешься не ко времени, так и сужено тебе всю жизнь голым сердцем биться, душу в кровь рассаживать... Всякий романтик — скиталец. Вечный бродяга на истерзанной реалистами земле. Романтик — персонифицированное одиночество. Тут никакое всемирное братство не поможет. Тут всеобщей любовью не обойдешься. Потому что нет вам дома на земле, нет очага. Потому и себя я обретаю на скитание. Вину свою замаливать... У тебя

клюет!.

- Егор подсек, мягким скользящим рывком выбросил на берег рыбину, снял с крючка, пустыг в ведерко, положил удочку на траву.

- Есть некие водоразделы между поколениями, - продолжал историк. - Даже не водоразделы, а как будто насечки на эпохе, то глубокие, то едва заметные, но они всегда есть. Издалека посмотришь - вроде все ровно, или все равно. Ближе всмотришься - нет ровизны. Какая-то резкая особыца... Даже в твоем поколении, родившемся перед самой войной. Вы несете в себе родовые признаки прежней нравственности. И рассеетесь среди людей, и будете оставаться не чужими, но чужими. И разметает вас время на разные полюсы, как остатки исчезающего племени. Так что и жить вам, и страдать, и любить, и сочувствовать с неким романтическим акцентом...

- Может, притерпимся? - улыбнулся Егор. - Смотрите, как в мире здорово. Солнце в чистом небе. Редкая рыба в теплой воде. От земли исходит сухое пряное дыхание. Воздух мягок и ласков. Мысли стройны и текучи... Ведь все это прекрасно!

- Еще бы. Конечно, прекрасно. Но я не об этом. Я о том, чтобы ты приготовился к великому терпению и великой печали. Я ведь и сам, несмотря ни на что, романтик... Иногда хочется отречься от всего своего светлого и темного опыта, и просто вопрошать о человеке. Вопрошать себя, других, тебя...

- 12 -

. Как был прелестен потаенный взгляд глаз, опущенных мягкими ресницами; как нежен был румянец пухлых щек; как розова стыдливость влажных губ; как трепетали пальчики руки, прозрачной, тонкой и прохладной; как страшен был восторг прикосновенья...

Он сделал для нее часики из спичечного коробка, и, подкручивая винтик, можно было двигать стрелки по нарисованному циферблату. Потом они играли в игру "кто быстрее". - бросали кубик и переставляли фишку по рисованной доске.

21.

Потом он провожал ее домой, прихватив кухонный нож, и мечтал, что кто-нибудь нападет и захочет ее похитить, а он бы защитил ее от разбойников и она бы, благодарная, его поцеловала. Потом он написал стихи — "Эмма-роза, Эмма-цвет, Эмма — розовый букет". Потом спрятал стих под подушку, там стих нашла сестра и стала бегать по дому, распевая, он бросился, укусил сестру за коленку. Потом мать побила его свернутым полотенцем, он смеялся от злости, а мать плакала. Потом он пошел на день рождения Эммы, ей исполнилось десять лет, и он понял, что любовь ушла.

Как мучительны хронические боли в пояснице; какие глубокие неосознанные страдания причиняли дети; как надоедливы и визгливы были внуки; как противен и глуп ночной храп мужа; как безнадежны и тупы каждодневные прикосновения быта; однажды бессонной ночью она вспоминала всех, кто в нее был влюблён, и тех, в кого она была влюблена, она вдруг поняла, что она никого не полюбляла до обморока, до забытья, что те, кто ее любили, обокрали ее, унося со своей влюбленностью что-то остро неповторимое, как замирающая нота; она неожиданно заплакала, так и не слыша, что в прошлом, живущем особой, собственной жизнью, игрушечные часики отщелкивают ненастоящее время.

Какой испуг во взоре синих глаз под удивленными овалами бровей; как розова стыдливость мягких щек; как тонко трепетанье темной жилки на нежной щеке, потной и прозрачной; ей было тринацать лет, и она была дочерью летчика.

Потом они сделали в стоге сена пещеру и сидели там, прижавшись коленками. Потом он поцеловал ее с замиранием сердца, и ему было страшно и противно, губы у нее были мокрые. Потом он понял, что любовь прошла мимо, не раскрыв своего лица.

Как тяжело давление земли, как равнодушно все ее цветенье... Став бесстесной, девочка каждый год в день своего рождения появлялась у места своего захоронения, невесомо опускалась у могилы и задумчиво шевелила траву, как волосы земли. Потом рядом с ней поместили труп мужчины с бородавчатым носом и иссохшей совестью, и больше здесь никто не появлялся.

Как скорбна красота ее чахотки /это была совсем другая девочка, старше той, дочки летчика, и у нее была чахотка/, как призрачен румянец впалых щек /почему он полюбил ее?/, как грациозна осторожность ее порывистой походки /она была длиннее его раза в полтора с четвертью/, как огнен внезапный взор огромных глаз /какого цвета?..

Потом он написал для нее стих, хрипло дышащий любовью, потом еще один стих, едва дышащий любовью, потом третий стих, в нем любви, пожалуй, не было, а был только хрип. Потом она вылечилась, выросла, вышла замуж. Удачно. Родила дочку. Удачно. Потом вторую. Удачно. Третью. Удачно. Муж сказал: хватит. Однажды они ехали на юг на машине всей семьей, — она, муж /он к тому времени сделался доктором каких-то наук, чем втайне весьма гордился и втайне ценил обижался на жену, когда думал, что она этим не гордится/ и три дочки./ как они поместились, толстухи, на заднем сиденье, они не знали/, и когда машина, отъехав порядочно за пределы города Щ, вдруг вбежала на холм, с которого внезапно открылся неохватный простор полей, засеянных пшеницей сорта "рекордистка-147", а среди колосьев неожиданно заголубели акварельные мазки сорняковых васильков, она сказала мужу:

— Останови.

— Ты чего? — пошутил он. — До ветру прогулиться?

Она ничего не ответила, нахмурившись, взглянувась в воспоминания напряженно /когда проезжали через город Щ, какой-то поворот улицы, где на углу стоял двухэтажный кирпичный дом с оббитыми стенами, напомнил ей, как звук издалека, знакомую мелодию любви/, потом вышла из машины, выставляя длинные и все еще стройные ноги, и пошла в подъезд к акварельным василькам. Там она опустилась на колени под тяжестью переполнявшей ее печали и, закрыв лицо длинными пальцами, в золотых кольцах, вздрагивая полными плечами, зарыдала сладко и страшно, повторяя бессмысленно: "Боже мой, за что? за что? за что?"

... Низкие серые грязные небеса влачатся, давясь дождем, над городом, жирным асфальтом, над холодной зеленью скучных палисадников, над горькой стылостью уставленного домами пространства,vlaчатся с густым шелестом за край города, за его желтые стены, где идут, притаясь...

Егор поднял голову: "в небе, ко всему приученный, бессмысленно кривился" зелено-красный диск огромной луны. Только что наступило раннее утро обычной белой ночи. Егор думал о прожитой жизни. Она казалась такой большой в прошлом, хотя на самом деле была короткой, как июньский сумрак. Тринадцать часов тому назад произошло исключение из института. Студенты приходят и студенты уходят, а институты пребывают вовеки. Начинало исполняться пророчество школьных педагогов, судивших ему жизнь бесприютную, изгойную. Все взболтaloсь в душе и только-только начинало укладываться...

Он сидел на гранитной ступеньке у самой воды и смотрел на вздыбленный мост. Так неспеша и так нетленно Нева течет передо мной, и кажется недвижной пена над серою ее волной, и крики чаек так гортанны, и столь причудлив их полет, что это чем-то очень странным, средневековым отдает. Уходит ночь, у волнореза густее смоляная мгла, и пахнет морем и железом, и блекнут мысли и дела.

Он прошел искусств социального испуга. И утренняя ночь успокаивала, нашептывая контрабандные желания: чтобы все миновалось, чтобы все устроилось, чтобы все было хорошо.

Подошел, спустившись по ступеням и сел рядом у воды потрепанного вида в сером пиджаке с обвислыми плечами, но с юношеским чистым, воздушно прозрачным, иссущенным возрастом и эпохой лицом - человек. Поздоровался.

Егор скосил глаза, повернул лицо, премолчал.

- Какая ночь! - веселым игривым голосом заговорил человек. Он оказался стариком. - Какая ночь! Вы извините, не примите мое желание разговора за изюминавязчивость. Я каждую ночь прихожу сюда посидеть во всякое время года, а теперь вдруг вижу, что вы здесь. Дай, думаю, подойду, думаю, и спрошу, а вдруг, думаю, что вы испытываете те же чувства,

что и я. Тогда мы могли бы на время обменяться чувствами ради чувства новизны. Вам, очевидно, неведомо чувство отсутствия чувства желания.

Егор лениво удивился, пожал плечами: устал от слов и не верил.

— Как хотите, — согласился старишок. — В такую ночь и в этом городе все возможно. Что вообще возможно, и даже более того. Вам сколько лет?

Егор дважды щелкнул ладонями, растопырив пальцы.

— О! — уважительно отозвался старишок. — Это уже не годы, а лета. Лета старушку-музу гонят из постоянного двора, а буря мглою нас-накроет, и завтра будет как вчера.

— Вы поэт, — сказал Егор, — а зачем? Зря вы так.

— Нас, бесприютных, остро зря, восходит утрення заря. Отчего вы грустны и печальны? Я вам сострадаю, у меня такое бывает. Тогда я дожидаюсь такой же растерзанной ночи, обуваю сапоги с подковами и цокаю по мостовой, повторяя путь медного всадника за бедным Евгением. Хотите, сейчас вместе поцокаем друг за другом? Все не так скучно станет. Вы будете бедный Евгений, а я всадник. Женя, давайте поцокаем до адмиралтейства и обратно, а? Вот так, — старишок. — стал подпрыгивать на месте и цокать языком туда и звонко. — Отчего же вы столь несчастливы? — не унимался он. — Вас оставила любимая Параша?

— Нет у меня Парши, тем более любимой. Меня исключили из института. Я хотел реставрировать монархию.

Старишок мелко, визгливо, но с удовольствием захихикал:

— Надо же! хи!хи!хи! Я полагал хи!хи! что жизнь хи!хи! в чем-то изменилась. В свое время я также хи!хи! собирался реставрировать монархии!хи!ю. А в результате получил гражданскую войну.

— Чушь собачья! — рассердился Егор. — Ничего я не хотел реставрировать. С таким же успехом мне можно было присесть реставрацию первобытной Руси!

— Первобытная Русь... — зажмурился от удовольствия старишок. — И на том берегу бледный чухонец бросает сети, убогий, не ведая, что придут строители и станут рубить окно. И ничего еще нет, — ни опричнины, ни раскола, ни самого

христианства. В лесах зверь рыщет, в небе птица ныряет. Хорошо! А в это время уже существует на земле великая культура. А у нас тут — первый быт, люди только начинают обставляться вещами, родственными, понятными, одушевляемыми. Ах, как было бы здорово, если б вам удалось реставрировать первобытную Русь!

— Вот, помешали.

— Н-да. Это качество социализированного человека — мешать естественному ходу эволюции. Вместо эволюции — благозвучное слово, не правда ли? — придумали прогресс. Вы знаете, выноша, мне иногда кажется, что человек специально появился откуда-то с неба на землю, чтобы противоречить всему, что устроется природой. Все-то ему неймется, все-то он стремится свершить так, как ему на лукавый и ограниченный ум видится лучше, чём случилось бы само собой, не вмешайся он своими великими проектами. А мне из деревни пишут, что местный дурачок-поселенец сжег библиотеку и изнасиловал соседскую красавицу-свињу. Продать ее так и не удалось, — кто же станет изнасилованной свинью есть? Пришлось ее в лес выгнать, может, кто из пришлых охотников пристрелит. А ведь я в свободное от размышлений время изучаю, исследую любовную лирику Петрарки. Каково? И куда же вы теперь, после исключения?

— Пойду на завод токарем или слесарем. Производственные задания — на двести процентов с гаком, только так. Сверлить, точить, резьбить детали, из которых затем собираются умные машины, которые со временем заменят человека...

Старичок, не веря, покачивал головой.

— Потом заведу семью, — продолжал, распаляясь, Егор. — Жена-дура станет соваться во все мои дела. Дети-придурки, любители мотоцикла и джаза. Потом обнаружу в себе неожиданный талант. Начну изготавливать коллажи из щелухи недожаренных семечек. Пойду в народный театр лицендействовать...

Старичок, не веря, покачивал головой.

— Потом я умру, — возвысил голос Егор. — Меня похоронят на хорошем кладбище. Родственники поставят памятник из мраморной крошки, вмазанной в бетон. В одной черточке между годом рождения и годом умерения воплотиться вся моя страда-

тельная жизнь. В принципе все мы лишь черточки на полотне времени, легкие, незаметные штрихи...

Старичок, не веря, покачивал головой.

- 14 -

За что вы не любите стариков, вьюноша? Понимаю, их не за что любить, так я не об этом. Почему вы их не любите? Ведь безвредный народ, и все больше расположается. Сейчас на земле процентов пять стариков, а к концу столетия их будет процентов пятнадцать, а лет через тысячу все земное население будет на три четверти состоять из стариков. Не вздрагивайте и не икайте, и вас, и меня тогда не будет. Это хотя и безвредный, но страшный народ — старики. Не те, вроде меня, небокоптители, а ответственные старики, у которых на носу капля висит. Все они ответственны за порядок, оставляемый после себя. Они оставляют свой личный опыт, называемый традицией. Традиция — прибеглое слово, чужое, от готовили латинян. Однако прижилось, прикорнилось, приспособилось, притерлось, как вирус. Традиция традиции — закон. Тот, кто нарушает традицию в любой ее форме — есть преступник, и ему полагается наказание в виде чего-нибудь этакого... дадно, ладно, не морщитесь. Понимаю, нравоучения вам обрыздили сзымальства, но уж дайте мне случай исповедываться перед вами, может, что и вам пригодится как предостережение против непомерных надежд. Знаю, знаю, надежды ваши еще не оформлены, желания еще не призваны к действию, но ведь чего-то от жизни вы ожидаете или она ожидает? Какие-то претензии к ней выставляете или она вам претендует? Вот то-то и оно, а вы говорите... А ведь старики — это не совсем идеологи, — вернее, совсем не идеологи, а просто деологи, им впору примиряться с вечностью и примерять на себя вечность. Ничто не жмет, и все в размер... Ведь и книги великих религий составлены не молодыми щелкоперами, а старыми людьми, то есть стариками, за ними ничего нет, кроме опыта разочарований, кроме мудрости тщеты... Ничто не вечно под солнцем, и все

проходит — вот вам и программа действий... Экий я, однако, провокатор, к пассивности вас зову... Это не совсем так.. Я не к тому, чтоб.. вам не.. прыгать и не веселиться на этом карнавале жизни, ради Бога, я даже душевно порадуюсь, мысленно созерцая вас прыгающим и веселящимся на этом карнавале жизни. Исполняйте все ритуалы, — профанируйте, развенчивайте, увенчивайте, снова развенчивайте, представляйте хоть весь мир навыворот, на левую сторону. Перелицовывайте его, этот подлунный праздник, склоняйте на огне смеха все.. чучела, созданные уходящими стариками, все это в вашем праве.. и в вашей воле... Ах, какая это радостная картинка во всей своей протяженности. Но ради Бога, не принимайте это всерьез... Нет, я не за ваше вседневное штовство, поймите меня правильно.. Я за то вам наставляю, чтоб вы серьезно играли, вы меня понимаете? Это ведь.. игра — жизнь, игра с рвущимися себя.. проявить творческими силами. Во мне их.. уже нет, — так, с горстку по углам насекести, вот я и.. играю.. с воображаемыми тенями.. А вас.. мне жаль, если вы станете глубоко и душевно переживать, если игра пойдет не в пользу или не по.. вашим правилам... Смейтесь.. В смехе с.. нами боги смеются, а в слезах.. над.. нами смеются. Без смеха вся.. жизнь — сонная.. одурь. Она тоже не раз станет к вам.. подступать, завораживать.. покоем, комфортом, наслаждениями... Вот истинная опасность.. Вы не.. сердитесь, что я этак.. вам.. проповедую.. Может, не сегодня.. завтра умру, я уж.. не.. один.. год.. себе.. этак.. обещаю.. Ну.. и.. на.. всякий.. случай — вам.. высказаться, если.. уж.. все.. равно.. стою.. перед.. по.. следним.. порогом.. А.. так.. —.. через.. слово, от.. меня.. к.. вам, от.. вас.. еще.. к.. другому, смотришь, и.. выстроилась.. цепочка.. в.. будущее.. а.. по.. этой.. цепочке, смотришь, и.. моя.. душа.. перебежала.. к.. потомкам.. Вам.. это.. что? Звук.. пустой, а.. мне.. —.. надежда.. быть.. услышанным.. Что.. наша.. память? Наша.. память —.. диалог.. мертвых, незвучащие.. голоса.. Недвижные.. порывы... Покой.. А.. все.. равно —.. какое.. то.. движение, незаметное.. праздному.. взгляду, неслышное.. тугому.. уху, —.. совершается.. в.. этом.. диалоге.. В.. человеке.. слово.. себя... являет.. и.. другому.. человеку.. руку.. протягивает... Вот.. оно.. что... А.. что.. до.. вашего.. горя,.. исключения.. из.. института,.. так.. —.. и!.. мильный.. вы.. мой,.. да.. я.. бы.. за.. ваше.. горе.. не.. знаю.. что.. отдал.. бы.. Меня

вот никто ниоткуда не исключал, разве что жизнь, если соберется мнѣ внимание уделить, она из себя исключит, если я вред какой стану чинить... А вам-то что? У вас полный разворот возможностей. Хотите - тѣм будьте, хотите - совсѣм даже другим. Хотите, хоть в десять лет себя износите, истреплите по будням, хотите - до ста лет сберегите себя для праздников, хотите - сами себе праздники устраивайте... Только на сердце не кладите всякую личную печаль, а только светлую. В светлых печалях душа возвышается, а в светлых мыслях дух восходит... Вы уж не сердитесь, вьюноша, на меня, старого дурака, я понимаю, - вам слова мои -- все они внешние, как ветер из прошлого, а все-таки надеюсь -- ничего не пропадет, и когда-нибудь в неожиданном месте да вдруг вспоминается, и подумаете однажды: а вот и прав был тот, без имени, без примет...

- 15 -

Полнеющий дряхлеющий поэт с лицом обрюзгшим, полумятым, с глазами, кровью налитыми от щекального балдежа, - величаво простер руку короткопалую над рукописью многих неумелых стихов и мгновенным свистом втянул воздух в захламленные легкие.

Итак, коллега по перу, собрат, - известный поэт еще раз свистнул, втягивая воздух, хрюпло кашлянул, перемещая в горле и проглатывая мокроту, и как-то интимно, развратно подмигнул Егору. - Извините, я несколько задержал чтение ваших стихов. Тут недавно приезжал известный киргизский поэт, которого я перевожу на русский язык, так мы с ним умения на даче пили целую неделю - ух! здоров он водку глотать! - так я и задержал чтение ваших стихов. Однако, прочитал, прочитал. Вспомнил свою молодость. Военную юность. У нашего поколения все сердца - в шрамах. Послевоенную зрелость вспомнил. Н-да... начинали мы не так, как вы. Брызнулись в поэзию, можно сказать, на хребте традиций. Каждый со своей темой. Ритм эпохи был ритмом нашего сердца...

В шрамах, - осторожно вставил Егор.

— Вот именно, — подтвердил охотно заслуженный поэт. — Все боли, и драмы, и трагедии мира мы брали на себя. Шли на жизнь с открытым забралом. Каждый со своей темой.

— На хребтине традиции...

— Да. И в унисон с историей. Я ведь не случайно вам все это говорю. Главное для поэта — что? Не мастерство, нет, — сейчас, после Блока и даже после Маяковского стыдно писать плохо. Стыдно. Русский стих разработан во всех его формах, во всех образных структурах. Главное для поэта — жить в русле истории. И тогда река времени вынесет его к потомкам. Ведь мы, зрелое поколение мастеров слова, передаем вам, входящим в великую русскую литературу, не славу свою, что нам слава? — мы передаем вам эстафету великих идей эпохи. Волшебную палочку мастерства. Простите за невольный поэтизм... Н-да...

— Это как? — спросил Егор. — Одну палочку на всех? Кто успел схватить, тот и мастер?

— Не иронизируйте. Я и сам в вашем возрасте был таким. Вы знаете, о чем я говорю. У каждого поэта должна быть своя большая эпохальная тема. У одного революция, у другого комсомольская юность, у третьего патриотическая тематика. А у вас? Чистый субъективизм. Кому в наше время интересны ваши переживания, если из них нет выхода в великие дела? Вы посмотрите, что делается вокруг. Освоение целины. Освоение космоса. А какие стройки затянуты? Вы не видите, какое, как сказал бы поэт, тысячелетье на дворе. Простите за невольный каламбур, но — выйдите из себя. Ведь что самое страшное для поэта? Замкнутость, приводящая к элитарности, пустому эстетизму и, в конечном итоге, — забытье на ярмарке истории культуры. Простите невольный пафос. Но когда я говорю с молодыми — становится больно за тот глубинный, выстраданный опыт, который мы обрели в собственных исканиях. В какие руки мы его передаем?

— Я так понимаю, — вставился в монолог Егор, — мои стихи не могут появиться в вашем журнале?

Заслуженный поэт виноватой улыбкой и виноватым разведением рук показал, что увы.

— Поэтический раздел нашего журнала заполнен текстами на четырнадцать номеров вперед.

— А если вдруг обнаружится новый Пушкин?

— Придется Пушкину подождать, — улыбнулся поэт озорной мальчикеской улыбкой. — У нас — плановое хозяйство, так что Пушкин в ближайшее столетие, извините, не запланирован. А вам я советую работать. Работать и еще раз работать. Берите крупные темы и работайте широкими мазками. Испытайте себя переводами. Это хорошая школа для поэта. Помните, Афанасий Фет говорил: к зырянам Тютчев не придет. Так вот, пршел Федор Иванович, еще как пршел. И к зырянам, и к манси, и к уйгурам, и ко всем, так называемым малым народам, прежде не имевшим никакой письменности, никакой культуры, кроме шаманства. А теперь? И Фет к ним, и Тютчев пршли. Да и я, грешный. Сейчас работаю над переводом одного национального поэта. Большая поэма о колхозе и о его председателе. Добротная эпическая поэзия. Широкий, вольный, добротный стих. Тёплый национальный колорит. Размашистый шаг. Так что брюки трещат в ходу. Бровень с эпохой и даже — простите за невольную шутку — на полновозрасти впереди века. Вот так. А вы говорите. Так что дерзайте, коллега, дерзайте и еще раз дерзайте. Будет что новенькое у вас — милости просим. Как говорится, наши двери — для вашего стука.

- 16 -

Работал на заводе. В шесть утра брал приступом трамвай. Научился на остановке выбирать диспозицию. Научился работать локтями, корпусом, коленями, бедром, носком и каблуком ботинка, правого и левого. Научился, уплошившись, врезаться в толпу и проникать сквозь туго сдвинувшиеся тела. При взятии дверей, а также внутри транспорта научился делать финты, подсознательно угадывая, какое место сидячее освободится, и тут же, не успевая моргнуть себе, занимал счастливо освободившееся место. Научился делать вид, что только что заплатил за проезд, а также вратить контролёру, что только что вошёл и вот уже держит монету в руке и вот

уже передает в кассу. Научился не видеть женщин пожилого возраста, среднего возраста, а также молодых девушки, не считая детей, которых родители пусть держат на руках или пусть не ездят. Научился оправданием к биографии точить пальцы, кольца, флянцы и другие металлические детали, изготавливаемые резанием на режимах, соответствующих твердости и вязкости материала. Научился в дообеденное время изрезать в магазин за бутылкой, прятать ее в рукав, штанину или подвешивая между. Научился выбивать пробку шлепком ладони по заднице бутылки. Научился врубаться в разговор и демонстрировать трущобный, а также пещерный и площадный натурализм. Научился говорить о женщинах с различными оттенками рыцарства, казарменности соответственно обстоятельствам и настроению. Научился поднимать руку и опускать глаза. Научился вырывать из глотки мастера выгодные заказы. Научился говорить о футболе, хоккее и последней пьянке. Научился слушать и рассказывать бытовые и политические анекдоты. Научился врать близким людям и верить вранью дальних. Научился говорить о литературе, которую любил, но странною любовью. Научился жить и не замечать, что уже живет.

- 17 -

Доброе утро, почтеннейший Егор Иванович. Полагаю, что и у вас в городе почту приносят по утрам, потому и доброе утро вам говорю. Вы меня не знаете и ни от кого обо мне не слыхали. А пишет вам старый заслуженный работник колхозной бухгалтерии. Мне уже далеко за семьдесят, потому и определил я себя в заслуженные. Я давно не работал. Получая пенсию, сейчас прибавили, а раньше получал двенадцать рублей в месяц. Но я не горюю, потому как у дома и сразу за забором есть полоска, от которой я и кормлюсь, что вырастет. Немного картофеля, немного моркови или еще чего. Правда, никакой помидор у меня не вырастет. Говорят, земля порченная. И огурец тоже не растет. Но не жалуюсь, старушки наши иногда меня подкармливают, кто чем может. Правда, дети у меня

давно выросли, и у них давно свои дети, живут в городах больших, а ко мне никто не является, потому им делать у меня нечего. А пишу я вам, уважаемый Егор Иванович, вот по какому случаю. Весной приезжал к нам в деревню некий писатель работать на наших просторах, где происходит его произведение, и он показывал один ваш рассказ неопубликованный, так не рассказ, а повесть небольшую. И хотя образование у меня небольшое, всего церковно-приходская школа, но человек, я думаю, начитанный и в нашей великой русской классике и немногого в новейшей литературе, то есть хочу сказать, знаю книги после Великого октября. Особенно затрагивают мои душевые струны и чувства такие же всеми признанные мастера культуры, как Лесков, Мельников-Печерский, Писемский, Успенский и другие. Я не только читаю и перечитываю, но и сам, грешный, иногда балуюсь. Как вышел окончательно на пенсию в двенадцать рублей, так и принялся сочинять роман. Собственно даже и не роман вовсе, потому как в нем нет и не предвидится любовной интриги, а так, что-то наподобие повествования на разные, смею сказать, небесные проблемы, которые меня всегда волновали и чем далее, тем более. В прежние тяжелые годы только одно отдохновение было для ума и души — смотреть на небо. Хотя чего я там мог ожидать? А жизнь моя была нелегкая. К работе полевой я не был причастен из-за слабости здоровья и инвалидности, у меня с самого младенчества одна нога оказалась короче другой, как у Талейрана, вот и приспособили меня в нашей колхозной бухгалтерии цифры складывать, там и читать приходился. Да и так разохотился, что просто удержу не знал. Все окрестные избы-читальни перечитал, да и в райцентр наваживался. Так что может какой особенной грамотностью я не блещу, однако вкус и понимание разных проблем развили, сколько можно было в нашем медвежьем углу. Люблю, грешный, стиль плавный, закругленный, чтоб душа купалась. Однако больше всего я люблю правильную иющую новую русскую мысль. Потому, собственно, начал сочинять, постоянно находясь под влиянием своих дум и мыслей, а также под влиянием великих русских писателей, которых я перечислил выше. Но не это, дорогой наш Егор Иванович, послужило причиной моего этого письма. А вот что. У нас, если

я правильно понял ваш неопубликованный рассказ, собственно, не рассказ даже, а целое глубокое повествование об общей нашей жизни. Я увидел некоторое, даже весьма значительное совпадение мнений в вашем романе и в моем повествовании. Мы с вами оба увлечены, как я понял из вашего повествования, чем-то странным, прямо-таки фантастическим. Я признаюсь вам вот в чем. По странному совпадению вы описали мою собственную ручную жизнь, как она была, а в ней было много всякого фантастического. Но более всего меня увлекли ваши глубокие мысли и необходимости или, как теперь все говорят, об неизбежности братства людей, то есть не то, что они станут все родственники, а как будто будут любить и помогать. И мне такие мысли все чаще приходят в голову, чем больше я людей наблюдаю, и природу, и животных и даже насекомых. Эта великая идея непременно должна осуществиться, иначе человек тогда на земле божьей будет бесполезен. И ваши мысли это как будто мои мысли. Как будто мы в одно время думаем одинаково. Об этом я и пишу в своем романе. Потому что в моей жизни тоже было много фантастического. Уже одно то, что все-таки выжил во все страшные годы, уже есть самая чистая фантастика в ее голом и, можно сказать, неприглядном виде. Это сейчас я получаю пенсию, а раньше я получал двенадцать рублей, а это, можно теперь смело сказать, одна надсмешка над великим человеческим достоинством. И в вашем великом романе я тоже увидел похожие на мои мысли о великом человеческом достоинстве и братстве. Ведь не напрасно я жил в эти страшные годы на этой божьей земле. И под этим божьим небом восторгался великими мыслями. А когда я узнал, что вы, почтеннейший Егор Иванович, являетесь в некотором смысле молодым человеком и нас разделяют десятилетия ничтожных великих лет, я совсем обрадовался. Это как будто одно поколение людей разговаривает с другим поколением людей. У меня даже дух захватило и я, взволнованный, долго весь день ходил по лесу и все удивлялся, как эти ваши и мои мысли совпадают в чем-то великом. Я сейчас сижу в своей избушке на гнильих ножках и с восторгом переписываю ваш роман. Я просил ваше произведение искусства, чтобы переписать и хранить вечно. Но тут есть одно небольшое затруднение, с которым едва решаюсь об-

ратиться к вам. Не затруднит ли вас, милый наш Егор Иванович, прислать мне немного металлических перьев. А чернила я делаю сам. А бумагу я беру из старых бухгалтерских книг, у которых одна сторона чистая, а там, где цифры, я закрашу, чтоб вид не портить. Таким образом ваше произведение будет в надлежащем ему виде храниться у меня вечно. Если вы хотите, я могу вам на этих же листах бухгалтерских книг переписать для памяти и чтения мое повествование, где наши мысли о человеческом братстве весьма и весьма совпадают, хотя это чистая фантастика в ее неприглядном виде. Мне до того понравился ваш великий роман, что я даже листы понюхал. Я думаю, вы курите душистые папиросочки и правильно гнушаетесь нашим вончым самосадом. Очень вас прошу, почтеннейший Егор Иванович, ответьте мне на мое это призывающее письмо. А то мне здесь ужасно тоскливо. Особенно зимой, потому и пишу вам в хорошую погоду. Если вы мне ответите, как человек благородный, то у нас может завязаться переписка. Так сказать, эпистолярный жанр, где мы станем обмениваться нашими похожими мыслями. Жду вашего письма. С благодарностью кланяюсь вам и подпись свою прилагаю.

- 18 -

Можно жить двумя способами: при ком-то или при чем-то и самому под себе. Это — по вертикали. И еще двумя способами: делая что-то и ничего не делая. Легким и подвижным, эмоционально приподнятым дуриком. Первые способы можно отложить на одной оси — вверх, а вторые — на другой, по горизонтали, и мы получим график человеческой жизни. И если все случавшееся точно отмечать повышениями и понижениями точек, то получается выразительная наглядная картина, и всякий увидит и выводы для себя сделает. А если какие-то события происходили внезапно и резко, то и на графике это будет отмечено ломаной линией, как горы на горизонте жизни. Есть люди, притягивающие к себе различные события и по жизни двигающиеся как по тряской дороге, а есть люди, которые отталкивают от себя

все события, это равнинные люди, все у них происходит спокойно, ничего не дергается и не подпрыгивает, все соответствует всему же, и едут они себе спокойненько, едут и едут, и не замечают, то ли еще не отъехали, то ли уже приехали. А еще можно жить самому по себе, при своей жизни, закругленно. И тогда получается не график, а одно пятно какого-то цвета. Если от этого пятна далеко отойти и посмотреть в прищурку, то и не заметишь отличия от других пятен, все они сливаются в один общий фон, меняющий оттенки зависимо от освещения. А если подойти ближе и всмотреться пристально, то увидишь, что это индивидуальное пятно само состоит из мелких точек, а у каждой мелкой точки точечки — своя форма, конфигурации и своя геометрия. Если человек состоит при чем-то, а не сам по себе свободно в жизни болтается, как нога в большом валенке, тогда человек при чем-то может быть или начальником, или подчиненным. Тут же тоже есть свои пятна, зависимо от освещения и даже от времени года и состояния атмосферы. Потому что начальник зимой — это не весенний и не летний начальник, у него и глаза другие, и выражение лица, и выражения слов, да и сами приказы иногда очень сильно отличаются. Пусть читатель не помышлит, будто автор ~~шины~~ имеет что возразить против начальников или всяко-разно их окопчить. Просто начальники всегда на виду как люди возвышенные, и их любой может наблюдать и созерцать и выводы для себя делать. Потому что начальники всегда живут на фоне тех пятен, о которых мы говорили. Если отойти довольно далеко, то и любой начальник сам будет выглядеть, как пятно, но мы далеко отходить не будем и подробно рассмотрим начальника, ибо мы уже установили, что люди разделяются на начальников и на подчиненных этим начальникам. Такое рассмотрение не совсем скучное занятие, как может показаться некоторым суетливым людям, а имеет отношение к науке, потому что есть учёные-исследователи, которые всю жизнь рассматривают какого-нибудь клопа древесного, земляного или постельного, и здесь открывают много загадочного, что даже скажешь раз и навсегда и потом полюбляешь этого загадочного клопа, как одного из высших творений природы. Начальник также существо загадочное.

Откуда он берется и куда потом девается, все это покрыто мороком неизвестности. По происхождению он должен быть началом какого-либо дела, а по существу им всякое дело и заканчивается. Он, как море, вбирает в себя все мелкие и незначительные ручейки всяких человеческих стремлений. Настоящим начальником не становятся, им рождаются. Стать можно кому угодно, — сторожем кладбищенской часовни, титуларным советником, товарищем прокурора, предводителем дворянства, железнодорожным кондуктором, но начальником можно только родиться. Начальник что дворянин, — корни его происхождения теряются в глубине веков, и только листья и цветы на наших глазах пышным праздником жизни распускаются. Есть начальники деловые и есть деловитые. Если первые берутся за все сразу и ничего до конца не доводят, то вторые, напротив, ни за что не берутся сами, а только всем мешают. Бегают, хмурят брови, будто решают навестить что важное, отдают указания и приказы, решения и постановления, а сами пальцем до дела не коснутся, а только всем мешают и все портят. Есть еще одна великая тайна, связанная с начальниками, — все-таки ни шатко ни валко, а всякое дело происходит и к своему натуральному концу является, да такое крепкое, бодрое, веселое, будто всем своим видом сказать хочет: а смотрите-ка, как ни хитрили начальники, как они не супротивлялись, а я все-таки есть, вот оно! По сути дела начальники как раз и есть те равнинные люди, с которыми ничего не должно случиться. Они, как солнце на небе, всем светят и все малое безобразие зрят. Есть начальники большие, а есть малые. Но это как большие и малые светила на небесах нашей скучной жизни, и хоть мы также хитrim и делаем вид, будто их не замечаем, а сами все равно от них зависим. Для человека это закон существования, — куда ни явись, в какое глухое, безлюдное место ни прибудь, глядь — а там непременно свой начальник окажется, да такой важный — фу ты! ну ты! Царь прямо, а не начальник. Смотришь на него и втихомолку робеешь, не знаешь, с какой стороны к нему и подступиться, а вдруг обругает? Смотришь на него, а тебя же испарина прошибает: чувствуешь, все-то этот начальник видит, обо всех твоих гнусных недостатках догадывается. Ты еще ничего не совершил, а ему все про тебя

ведомо. Ты еще только намереваешься какую-никакую пакость сотворить, а уж он тут как тут и тебе пальчиком грозит: мол, я тебя, негодника! Некоторые неустойчивые истерические люди не любят начальников и даже покушаются на самый всемирный закон начальствования. Но все это люди мелкие и натуры гибельные, потому что начальнику и не нужна наша любовь — на что она ему? — он само в себе бытие, как сказал один философ. Все подчиненные начальникам люди делятся на два разряда: знающие о том, что они подчиненные, и не ведающие об этом. Вторые — счастливее, зато первые — увереннее. Они снимают с себя груз раздумий и целиком отдаются радостному беззобачному житью.

Постскриптум. Многоуважаемый Егор Иванович, кланяюсь Вам и благодарю за те замечательные металлические перья и три пачки бумаги, что Вы мне прислали. Я прямо-таки воспрянула. Теперь моя работа пойдет значительно возвышеннее. Посыпаю Вам отрывки из моего труда. Обратную сторону листов бухгалтерской книги я, как Вы смогли увидеть, закрасила. В следующий раз на обратной стороне я изображу наши невеселые места в радостных акварельных красках, и Вы поймете, что мысли о всеобщем братстве могли родиться лишь в наших пэнатах.

- 19 -

— Ну-с, родственничек, — говорил доцент, похаживая петухом по просторной кухне, потирая большие пухлые руки, поглядывая, как Егор с удовольствием расставляет на столе снедь, — огурчики, отливающие изумрудной негой перволетней свежести, зеленый лук, перо к перу, как отрезанный хвост невиданного павлина, тонкую томительную мякоть ветчины, какой-то крупнозернистый докторский хлеб, еще помидоры, еще молодые, но уже такие мясистые, только что сваренную первую картошку, в тонкой, как у ребенка, светящейся перламутровой коже.

— Ну-с, родственничек, — говорил доцент, присаживаясь легко на табурет и привычным жестом, как приз за терпение,

снимая со стола непочатую бутылку, чтобы ловкими движениями пальцев моментально отвинтить пробку. — Ну-с, родственничек, — чокнувшись, крякнул доцент, затем кинул в рот и смачно хрестнул огурчиком. — Ну-с, родственничек, — сказал он минут через двадцать, опрокидывая лихо четвертую стопку водки, отчего глаза его расслабились, заволоклись благодушем и покоям, а на лысеющей голове сам собой взбрился пушистый хохолок коротких волос. — Ну-с, родственничек, — доцент поставил локти на стол и стал глядеть в глаза Егора.

— Ну-с, родственничек, — ответил Егор. — Вот мы и завершили мое образование. Вот и обмываем диплом.

— Хвалю, — сказал доцент, откашлявшись гулко, как в бочку. — Хвалю. Кто не идет вперед, тот отстает.

— Так мне вперед бы не хотелось, Андрей Ардальоныч, — заметил Егор, тоже ощущая в себе не то что покой, как у доцента, а некую благодарственность к умному и душевному собеседнику. — Зачем же непременно вперед? Мне и в стороне неплохо. Зачем всем так уж рваться в передовые?

— Ай-яй-яй, — с укоризной покачал головой доцент. — А еще родственничек называется. — Он выпрямился, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, оттянул узел широкого, прочного галстука. — Ты позоришь наше семя, — сказал он с чувством родственного стыда. — Ты посмотри, кто у нас в родне состоит?

Ни одного из перечисляемых Егор не знал и не ведал даже, что они существуют, эти замечательные люди, и даже общая с ними капля крови должна приводить в хронический воссторг, переходящий в тяжелых случаях в гордость принадлежать к общему корню. Все мы, в конце концов, родственники, думал он, кивая изредка в согласие доценту, соглашаясь, что, мол, а почему бы действительно не попробовать рвануть в передовые, чем черт не шутит.

Доцент кончил период, отдохнул, раскрасневшийся, выпил, помолчал.

— Ты выбираешь лучшую форму приложения умственных сил науки об идеях и способах их выражения. В общем, если литература — это жизневедение, то литературоведение — выше жизни и выше литературы.

Он подумал, соображая, не слишком ли высоко взял, затем продолжал:

- Туда, именно туда, а не куда-нибудь в другое место, стекаются ручейки человеческого духа...

- Да, - соглашался, хмелея, Егор, - именно туда. А море - это академия наук... Может, мне сразу в академики по-даться?

- Никоим образом! Ты должен защитить кандидатскую, защитить докторскую и так далее. И только в самом конце твоей блестательной карьеры ты можешь претендовать на звание академика, да и то... Это же такие способности интриги надо проявить! Нет. Я не уверен, что сможешь интриговать. Ты сможешь интриговать?

- А то нет! обиделся Егор. - Зря, что ли, я образование получал? Могу интриговать вплоть до русского изобретения - анонимки. Хлоп! и порядок. На соседа, на вас, на себя. Хотите на вас?

- И напиши. Возьми и напиши. Это придаст мне весу в глазах общественности. Ты видел, чтобы кто-нибудь писал анонимку на мерзавца и негодяя? То-то же. Зачем ему анонимка? Он и так на виду. А на порядочных людей пишут. И правильно делают, не фига вытячиваться моральной стойкостью. Не люблю порядочных людей, у них на лицах прямо-таки гордость сатанинская, - дескать, вот я какой хороший, а ты, дескать, дерьмо. Все должны быть равны. Слушай, напиши на меня анонимку, а?

- Если бутылку коньяку поставите, - соглашался Егор.

- Поставлю. Две. Будь ласков, напиши. Что беру взятки. Что спекулирую валютой. Что у меня две любовницы. Или три.

- Напишу. Завтра же. Ждите откликов. Все про вас раскрою.

- Ну, спасибо, а то как-то скучно стало жить в последнее время, ничего не происходит. А так, глядишь: там комиссия, да в другом месте комиссия, все как-то рутина рассеется, все какие-то эмоции.

**Анонимка.** Настоящим сообщаю, что известный негодяй, мошенник, фальшивомонетчик и растлитель имя рек долгие годы подвизается на ниве богатого и разнообразного высшего народного просвещения, берет взятки и вообще на руку нечист. В

прошлом году у них в гардеробе пропала нутриевая шапка и немногим спустя кожаное пальто бедного студента, купленное на последние гроши стипендии. Есть подозрение, что не обошлось без грязных завистливых рук Андрея Ардальоныча. Это можно проверить, расспросить соседей, а также жильцов по лестнице по указанному адресу, прилагаемому к анонимке... Кроме того вышеназванный тип втихаря приторговывает, харя, и всячески спекулирует валютой. Однажды у него в руке видели многодолларовую бумажку с изображением американского президента. Спрошенный, откуда у него доллары и зачем они ему, Андрей Ардальоныч вспыхнул, догадавшись, что раскрыт, и сказал, что коллекционирует деньги разных стран. Это надо проверить, возможно, валюта у него хранится в сливном бачке туалета в непромакаемой упаковке. И это в то время, когда стране так нужна валюта для покупки за бугром разных нужных народному хозяйству товаров всенародного потребления. Помимо этого вышеназванный тип неправильно воспитывает незаконнорожденного сына-школьника, учит его играть во всякие азартные игры, как то: в девятку, в пьяницу, в секу, а также в вист, шмендефер и гольф. Кроме того, у этого господина, оказывается, есть две любовницы, основная и запасная и, возможно, третья, — аварийная. Все три адреса также прилагаются. Вообще, его морально-этически-политический облик требует самого тщательного изучения по следующим причинам: неоднократно слышали от него разные критические высказывания в адрес; он сам признавался, что верит в судьбу, а это более чем странно среди всего нашего позитивного неверия. Ибо отсюда рукой подать до опиума народа — религии. Иногда в разговорах он цитирует Библию, эту энциклопедию верующих и неверующих, а также позволяет всякие иные сомнительные высказывания. Есть убеждение, что таким, как вышеназванный типчик, не место среди нашего, в целом здорового народа.

да. Предлагаем: выгнать его с работы, лишить родительских прав и окончательно разоблачить и выставить в прессе. Доброжелатель.

- 21 -

Многоуважаемый Егор Иванович, пишет Вам давний Ваш друг — бывший колхозный бухгалтер, оказавшийся на пенсии и сочиняющий роман своей жизни. Я продолжаю мысленно и по слухам наблюдать за Вами через ~~шиш~~ разных знакомых и подставных лиц, кто из них оказывается в городе. Металлические перья, когда-то присланые Вами, у меня еще есть, и я с наслаждением и степенностью работают ими — переписываю Вашу замечательную книгу и сам потихоньку пишу на обратных сторонах бухгалтерской книги, что и раньше. И на каждом листе рисую акварельку, всякий раз разную и соответствующую тексту. Много читаю и размышляю о своей жизни, а также над Вашей книгой. Она заставляет меня задуматься. Особенно поразила меня глава о Вашем школьном учителе-психологе. Вы повествуете об его многотрудной тяжелой жизни и связываете его жизнь и судьбу с учением и взглядами австрийского ученого Фрейда. Слышал о нем, но не могу согласиться с его взглядами. Насколько я знаю, сам доктор Фрейд считал себя поэтом, которому открылась истина. Не спорю, ибо истина, как женщина, отдается тому, кого любит. Но это совсем не означает, что истина, открытая поэту, непременно таковой оказывается для ученого или для трезвого мыслящего среднего человека. Кстати, один ученый богослов недавно открыл, что плодом, послужившим, помимо евиной зрелости, причиной грехопадения человека, было вовсе не яблоко, а банан! Представляю, как обрадовался бы доктор Фрейд, доживши он до этого открытия. Еще очень понравились мне Ваши рассуждения о том духовном поле напряжения, которое вокруг человека дышит и тем оказывает свое благотворное или, напротив, тлетворное воздействие на окружающих. По секрету признаюсь Вам, ~~шиш~~ что не только люди, но вещи и предметы также имеют вокруг себя влияющую на других атмосферу. Вы неправе мне не верить, но я сам

слышал однажды ночью, как моя печка, которую за неделю до этого перекладывал наш печник, о котором я Вам впоследствии расскажу, эта печка жаловалась моим валенкам на некую тесноту в ней. Она с моими валенками давно дружна, поэтому я и не удивился, услышав их разговор. Вы, как человек новой формации и окончивший университетский курс, можете не верить старому бухгалтеру, но я и не стану Вас убеждать. Приезжайте и сами услышите. Еще дерево у моего дома тоже иногда разговаривает с собой. Это уж совершенно точно. Я догадываюсь, что и цветы способны общаться с травой и промеж себя. Хотя мне и не удалось установить это с достаточной достоверностью. И еще у меня к Вам просьба, дорогой Егор Иванович. Несмотря на преклонные годы, я решил несколько постичь теорию искусства слова. В городе мне купили книгу на эту тему. Она увлекла меня своей непонятностью. Я и не подозревал, дожив до лысины и отложений солей, что мир так усложнился. Особенno меня беспокоит судьба реализма в русской культуре. Я подозреваю, как я понял между строчек книги, если реализм еще не умер окончательно, то уж дышит на ладан или на что другое. Это я шучу. Но серьезно говоря, так я и вовсе не разобрался, что такое реализм. Однако понял, что если я в том романе жизни, который потихоньку сочиняю, не реалист, так мне не только нельзя рассказывать о жизни, но и сомнительно, можно ли жить. Это я шучу. Так уж Вы, любезнейший Егор Иваныч, разъясните мне, старому бухгалтерскому писателю, что такое реализм, с чем его едят и какая при этом приправа и отрыжка. А то я прямо спать перестал по этой причине. Также прошу ответить, получили ли Вы продолжение главы о начальниках. Там я пишу про нашего председателя, который тоже интересный тип новой формации, собственно, не новой, а так, тридцатых годов формации. Общественной и политической. Будет жаль, если Вы этого продолжения не получили и оно затерялось. Я ведь копии не оставляю, а прямо пишу набело на обратной стороне бухгалтерской книги. Пойщите, там на обратной стороне должна быть акварелька. Голое поле, голое дерево, голый забор. Это я изобразил наши места в неурожайные годы, которых должно, как Вы знаете, семь. Так вот, прошу Вас, любезнейший Егор Иванович, отпиши-

те мн€ про реализм, а также про нашего председателя, получили его или нет. Если не получили, так я пришлю еще, я знаю наизусть. А также главу про подчиненных. Засим кланяюсь и благодарю Вас за душевную ласку.

- 22 -

Пришла осень и настали неожиданные холода. Три дня гулял по деревне ветер, взметая по кривым улицам солому, сухую траву, сухую пыль. Потом ночью на деревню наступил мороз. Он сверху все накрыл и распространился повсюду. В поле было теплее, но там никого не было, а деревня стояла, стыла, покрываясь мелкой сырьем земной испариной. Особенно зябко было старой бревенчатой избе на краю деревни на обрыве над рекой. Холод омывал избу, стекая в реку, и она дышала паром. В самой избе было тепло и темно. Хорошо нагретая печь мгновенно влажным теплом, остывая. В темном простенке между двух крохотных окон торжественно иконылись фотографические карточки усатых мужчин, и под их взглядами печь ощущала неудобство, как бы обнаженность. Незадолго до этой ночи печь была переложена этим корявым полупульянным и полуутрезвым мужланом, о котором печь и думать не помнила, так давно они виделись впервые, так давно его руки лепили ее. Печь пыталась считать годы, но сбивалась со счета, не могла ухватить событий, могущих обозначить порядок следования. Тогда печь решила, что впервые встретилась с этим полуутрезвым целую жизнь тому назад. Подумав это, печь как-то присоединилась, ей казалось, что впервые это было чужую жизнь назад. У него были ухватистые руки, и каждый кирпич он брал, как тугую мясистую плоть. Печь беззвучно хихикнула, вспомнив, что складывали ее из крепких деревоэволюционных кирпичей выделки завода "Никитин", что мужлан из хулиганских побуждений или по другой причине на самом видном месте выставил кирпич, на котором вместо имени заводчика было выдавлено и запечено матерное слово. На самом видном месте. Бывшая хозяйка, поругавшись с мужланом, замазала слово глиной, но глина, не желая соприкасаться с бранью, всякий раз отваливалась, и слово это прокрасо-

валось на боку печи много-премного лет, пока, наконец, сно-  
ва не явился мужлан, теперь уже старый, с одним полуприкры-  
тым бельмовым глазом, с отвратительными волосинами в ушах  
и ноздрях. Пришел, клопнул по печи ладонью и выругался.  
"Стоишь, милая? Не греешь, сука? Ну, щас я тя рассобацу", —  
сказал мужлан, и печь поежилась от грубости, и все-таки ей  
было приятно: из дальней юности пахнуло дымом березовых  
дров. Она вспомнила мужчин и женщин, спавших на ней, и не-  
ожиданно для себя зарделась по-девичьи. "Ты чего, дура?" —  
спросил мужлан и ушел на крышу разбирать трубу. Это было  
утром, а ввечеру печь была новой. Она боялась себя осознать,  
боялась понять себя, новую, и потихоньку, кирпич за кирпичом,  
осознавала свою цельность, прежние свои крепкие формы. Меша-  
ли новые кирпичи. Печь ощущала их как чужие, синтетические.  
Конечно, это тоже была глина, но выделка! но жар, в них за-  
ключенный! Нет, что ни говорите, а. Одно примиряло печь с  
состоянием новизны — тот самый кирпич с тем самым словом те-  
перь красовался прямо напротив окон. Мужлан почистил кирпич  
и присобачил его на самом видном месте, и если бы кому при-  
шло в голову заглянуть в окошко, то взгляд тотчас натолкнулся  
на это и в испуге и оскорблении отпрянул бы. А если бабка-  
какая глянет в окошко да узрит срамное, так мелко-мелко за-  
крестится, она же и помнить забыла и в глаза не слыхивала  
со времен первой империалистической. Но мужлану и хозяину  
это нравилось. Они сидели за столом у окна у старой керо-  
синовой лампы с истлевшим абажуром с кистями, пили водку  
из маленьких, толстых, как пороссята, стаканчиков и беседова-  
ли. А печь топилась, ощущая с острым удовольствием, как  
мягкий дымный жар катит искры по переходам, поворотам, зако-  
улкам, отдавая свою силу. Печь мгнала, мгнала и сама не замети-  
ла, как уснула разморенно и спокойно.. Проснулась она среди  
ночи от текущего внутреннего холода. Хозяин забыл закрыть  
вьюшку, и тепло уходило в темное звездное осеннее небо. "За-  
был закрыть вьюшку, — подумала она. — Если будет ветер, мне  
придется гудеть, и тогда он встанет". Хозяин, старый, щуплый,  
пьяненький, спал неподалеку на кровати под ватным одеялом —  
свалившимся комков, накрывшиесь с головой, и ничего не слы-  
шал. И тогда печь по привычке стала разговаривать с валенка-

ми наверху. Валенки давно ждали этого разговора, первого после ремонта, но так и не решались сами нарушить молчание, уважая чужой отдых. Они на своем веку тоже испытали не один ремонт и знали, каково это — начинать новую жизнь. Все вроде бы то, а все что-то не то. Вот такие дела. Валенки молча и терпеливо ждали, прижавшись к печи, выбирай тепло, и долго слушали под собой шелестение теплого воздуха, он двигался сам — от окон и от двери уходил в печь и затем через трубу в небо, невысоко поднимался над крышей, тяжелел, набухал сыростью, еще более тяжелел и скользил вниз к реке, там смешивался с ее дыханием, распластавался на воде, отдавал ей остатки едва удержанного тепла и уливал далеко-далеко. Все это валенки знали и терпеливо ждали, когда заговорит печь, или когда сквозь крохотные окна забрезжит рассвет, прольется скромной солнечный луч, упадет сквозь шелковый абажур ярким пятном на клеенку стола, соскользнет на пол и поползет к печи. Тогда проснутся часы, из них жалюзи пискнет кукушка, бедная родственница, и тогда валенки получат свои законные ноги, притопнут и выйдут на волю. "Ну как?" — спросил, не сдержав молчания, левый. Он казался и был более опытен, всегда ходил первым, и если подвертывался на неудобном месте, то тут же исправно выправлялся, мог ударить по камню, мерзлой коровьей лепешке, и привык чувствовать себя заводилой, начальником. "Ну как?" Печь спросонья не рассыпалась. "Мука?" — переспросила она. "Или мука? Я давно ничего не пекла, а мучение — удел зреющего возраста. В моем возрасте я знаю не муку, а терпение". "Усталость?" — спросил правый. — "Это и мне знакомо". "Отчего же усталость?" — сказала печь. — "Хозяин исправно мне служит, и когда я мэрзну, он всегда меня обогревает. Да и вы не можете на него пожаловаться". "Да, — подтвердил левый. — "Он всегда идет туда, куда мы хотим. Где уж мы его не таскали, куда не шаркали, ничего, не жалуемся".

Дорогой друг, я исправно получил присланные Вами письмо и главу о начальниках, и главу про человека той формации с акварелькой на обороте. Простите, что не тотчас собрался ответить Вам. Суетная городская жизнь препятствует всем нашим начинаниям, особенно добрым. Поэтому, чтобы самому услышать свое доброе слово, сказанное другому, непременно нужно преодолевать в себе инерцию ко злу. Мне очень лестно Ваше ко мне внимание, и хорошо думать, что Вы работаете и работаете не для видимых наград, а исполняя внутреннее побуждение, следя душевному движению. Не примите это за дежурный комплимент, но Вы, пожалуй, единственный человек, перед которым нет мне надобности выпячиваться, хитрить и всячески выкобениваться. Вас явижу таким, какой Вы есть, хотя прежде не видел и это хорошо: непосредственное восприятие могло бы разрушить представление, а оно всегда слажено действительности. Вы вопрошаете о реализме. Но, ей Богу, мне столько об этом в жизни долдонили, что навсегда убедили, что в природе никакого реализма не существует. Это выдумки досужих людей, чтоб пугать старых писателей. Поэтому я вполне допускаю и верю, что Вы настолько развили свое восприятие, что вполне можете подслушать разговоры печки с валенками, а также монологи деревьев, болтовня цветов и трав. Я завидую Вам, чувства городского человека грубы от непрестанного несогласованного столкновения с чувствами других людей. От общения в городе человек истирается, мозолеет душой, и услышать он может лишь собственные болячки. Но чтоб Вы не думали, будто я отмахиваюсь от сомнений, я скажу. Все вещи, предметы, события в мире называются реалиями. Они отражаются в ощущениях, восприятиях, представлениях. Отражаются вполне индивидуально, поскольку сами люди разнятся. Каждый из людей естественно претендует, что его способ отражения реалий является единственным истинным, то есть соответствующим самому предмету. Но это невозможно по самой сути человеческой индивидуальности, в которой к моменту рационального осмысливания мира уже наличествуют напластования биологического,

расового, национального, социального, семейного, личного опыта да плюс генетический фонд, да еще плюс актуальный момент со всеми входящими и выходящими привнесениями. И получается, что внутри нет реализма, и уж тем более его нет, когда пытаются выразить свое внутреннее в звуках, красках или словах. Так что получается, что реализма, одинакового для всех, не существует. Реализмов столько, сколько существует людей. Так называемый пресловутый реализм — это всего лишь социальная конвенция, вроде общественного договора. Чаще всего — это мнение одного человека или группы людей, навязанное многим или всем. Чем проще эта конвенция, тем грубее она навязывается. Есть реализм массовый, элитарный, традиционный и новаторский, профессиональный и индивидуальный. Например, художник и музыкант по-разному видят один и тот же предмет. Два разных живописца также видят его по-разному, как и два музыканта. И так далее. По существу, реализм — это то, чего в природе не существует, а существует лишь в так называемом общественном сознании, хотя само это сознание такая же фикция, обман, как и реализм. Поэтому все разговоры о реализме, да и это мое вещание о нем, все это есть сколастика, чья цель — заработать эстетический, моральный или материальный капитал на обмане ближнего, близких. И само чтение книг по данному предмету, при всей полезности этого занятия, есть лишь щекотание ratio и усиление эмоции. И заклинаю Вас, как друга, — не переступайте чужих границ, где нет ничего, кроме почвы иссохшей, обезвоженной, бескровленной, бесплодной. Оставайтесь на непосредственном восприятии. Пишите мне, о чем говорят цветы и деревья, а также, как протекают беседы печи и валенков. Искренне Ваш. Егор И.

— 24 —

Замглавред Кошлокин занервничал. Он лишь недавно был проведен по штату в аппарат среднетолстого журнала, и еще не освоил технику и технологию общения с авторами. Если темы, кого надо было печатать, обстояло относительно прос-

то, — выбор решения совершался помимо, то с теми, кто приходил с улицы или был заведомо сомнителен в смысле смысла или по внешности, Кошлокин еще не обывался общаться и обращаться. Он еще не выработал манеры откидываться на стуле и взирать на входящего с высоты художнической непогрешимости, или, уткнувшись в стол, задумчиво и устремленно перекладывать бумаги, бросая мельк взгляда на просителя, или уходить во внутреннее созерцание, чтобы дать понять вопрошающему, что он лезет в святая святых со своими графоманскими текстами, или отпасовывать на "загляните через Недельку", или с искренним сожалением и волнительно постукивая пальцами по столу, говорить, улыбаясь очаровательно: "надо еще немного поработать с текстами" или "вы знаете, каково сейчас с бумагой?", или "я весьма сожалею, но наш журнал забит поэтическими, прозаическими текстами до — возводятся глаза к потолку — конца...го года", или ... каждый способен при малом и безболезненном усилии воображения воспроизвести все ритуальные выражения, позы, манеры, движения, принятые в подобных случаях. У каждого журнала были свои способы "отшить" просителя, способы передавались от одного поколения редакционного аппарата к другому, совершенствуясь и разнообразясь соответственно прогрессу общества и человечества. Если формальные приемы оказывались для просителя недействительными, включались в работу приемы принципиальные. Автору можно было предложить такие, уродующие произведения, доработки, что автор, будучи человеком порядочным, хватал свою несчастную рукопись и, стенах, уносился прочь, клянясь, что никогда его нога. Если и это не помогало, можно было сделать вид, что рукопись в принципе принимается, но затем, когда автор уходит, а затем многомесячно заглядывает, позванивает, он узнает, что публикация переносится по таким-то и таким-то причинам и, скорее всего будет принята через два, три, четыре, пять, шесть.. месяцев. Или вдруг, сделав томно-страшные глаза, сославшись на цензора, который, знает, что.

Короче, необстрелянный авторами Кошлокин занервничал, когда Егор вошел в кабинет, не имея, собственно, намерения наседать с просьбой о рецензировании рукописи, чтоб, взяв рецензию, выяснить отношения с рецензентом, а просто пришел

спросить, прочитал ли Кошолкин предложенный роман и каково его кошолкинское мнение на сей счет.

— Мой роман. — Егор сел напротив и возвился на замглавреда.

— Помню, — засовал Кошамкин руками по столу, потом выдвинул ящик, выложил рукопись. — Прочитал. — Кошкин хихикнул и неожиданно для себя подмигнул и зачем-то сказал: — Рукописи не горят.

— Еще как, — подмигнул Егор в ответ, — хотите, сейчас здесь сожжем эту?

— Да, — хитро улыбнулся Кошлакин, — а у вас, небось, есть другой экземпляр?

— Ну и что? Зато символично и красиво. Или наоборот: сначала красиво, потом символично.

— Экий вы, — обрёл уверенность Кокин, — давайте сначала поговорим... Итак, роман. Так сказать, жанр, да?

— Жанр, — заученно подтвердил Егор, — эпическое произведение, в котором интересы героя и общества предстают как неслыханные и часто противоречат друг другу. Оно хочет сделать его общественным, он хочет сделать его человечным. Все. Конец цитаты.

— Ловко, — вздохнул Кошлакин, — ловко это у вас приплывает. Умница вы, хотя и жулик.

— Спасибо, не жалуюсь. Так что с романом?

— Понимаете...

— Понимаю, — согласился Егор. — В стране напряженка с бумагой. Журнал забит текстами на восемнадцать номеров вперед, а на девятнадцатый мой роман утратит актуальность, которой никогда не обладал. Редактор уходит в отпуск. Ответственный секретарь едет в зарубежную поездку. Машинистка родила мальчика, хотя все ожидали девочку. Что там еще? Ах, да. Цензор заболел и нескоро поправится, а мастевитый писатель предлагает новую гениальную работу, которая составит если не эпоху, то по меньшей мере поворотный узел в развитии отечественной словесности.

— Я ж говорю, вы умница, — понурился Кошолкин, торжествуя внутренне: с этим автором хлопот не будет, этот не ста-

Нет наступать на гражданскую и личную совесть. — Все-то вы угадали верно. И про машинистку. Она действительно родила мальчика, хотя все наши авторы ожидали девочку.

— Вот видите. Ну и как, простите, мой роман?

— Ах да, роман. Так сказать, жанр. Хотите откровенно?

— Да уж непременно откровенно, — начал подыгрывать Егор.

— Откровенно — мне понравился ваш роман. Вы знаете, мне даже показалось, что там есть искра божья.

Егор стыдливо опустил голову и начал колупать брюки на коленях.

— Да, — настаивал Кошин, — несомненно искра. И еще кое-что. Например, диалог. Прекрасный диалог. Умный, динамичный, местами стремительный и жесткий. Описания, правда, вам не всегда удаются. Но это и понятно, вы человек городской, не на природе взрастали. Стиль. Да, стиль. Мне это также весьма и весьма. — Кошолкин сделал паузу и решился. — Но напечатать ваш роман никак не удастся. Вы понимаете? Есть в нем что-то, я бы сказал, не наше... Ну, не совсем не наше. Но цензор не пропустит. Цензора, они — ух! Нутром чует, что можно, а ято — простите, — ну никак не можно. Вы знаете, признаюсь, сам я пытался, помню, провести одного. Ушлый! Сразу засек, что к чему. Вот так-с... Так что не обессудьте.. Кроме того, — добавил Кошамкин, подозревая, что его аргументы не убеждают, — содержание вашего романа, как бы мягче выразиться, вызывает некоторое сомнение. Нет, я понимаю, жизнь души — это сейчас, так сказать, в фаворе, но ведь есть душа и душа. Вы знаете, душа вашего героя вызывает у меня какие-то непонятные чувства. И если мы возьмемся доводить ваш роман, как говорится, до кондиции, нас просто не поймут, нет, не поймут. Вот такие пироги. Так что работайте. Если верить классикам, то гений — это десять процентов вдохновения и девяносто — потенция.

— Так роман потный будет! — воскликнул Егор.

Замглавред облегченно засмеялся неожиданным искристым, каким-то девичьим смехом, и сразу стал симпатичным парнем. Он грудью лег на стол, продолжая смеяться, затем вдруг по-

серьезнел и доверительно:

— Поверьте моему опыту. Самые лучшие произведения те, которые пишутся в стол. Потом приходят потомки и...

Егор представил себе унылую толпу потомков, которые ходят и шарят по столам непризнанных гениев в поисках шедевров, и ему стало грустно. Почему-то захотелось самому оказаться в толпе потомков и пошарить в собственном столе: уж он-то наверняка будет знать, где шедевр, а где дерьмо.

— Удивительные времена мы переживаем, — вдруг горячо заговорил Егор, — вроде бы какие-то ненастоящие времена, итровые. Чем чаще я сталкиваюсь с людьми, тем чаще в этом убеждаюсь.

— Да, да, вы правы, — с подлинным чувством подтвердил Кошлокин. — Прямо-таки несуразные времена вы переживаете. Настоящему таланту страшно оказаться в среде бездарности, завистников, карьеристов, подхалимов, лакировщиков.

— Вы полагаете, что-то может измениться? — спросил Егор.

— Не хотелось бы вас разочаровывать, но едва ли что-либо изменится в ближайшее столетие, и не одно. — Кошлокин загрустил, щеки и губы его сникли, на лбу прорезалась морщина, будто лоб усиливался разглядеть и опознать будущее. — Ну-да, все это грустно.

- 25 -

Любезнейший друг мой, Егор Иванович. Вы по бумаге, не бось, догадались, пишет Вам тот самый старичок, сухой корешок, который долго коптит небо и никак не выкоптит дочерна. Не знаю, как у Вас там в городе, а у нас, на воле, пришли радостные времена. Весна вдруг явилась во всей своей невообразимой божеской красе. Подступала, подступала, да вдруг и явилась. И сердце радуется и поет, глядючи на всю эту красоту. Мне, бывает, страшно становится, как раздумаешь, за что человеку такая красота природы дана. Ведь не напрасно, думаю, и стало, человек должен ее оправдать каждым своим

делом. А дни наши идут себе неторопливо без времен и сроков. Все по капельке да по капельке, глядишь, вон сколько жизни накапало. Да и не замечаешь, что да где. Смешной случай со мной произошел. У меня сломалось радио с самого поста, а я и не заметил. Только как-то спохватился, что это я ничего не знаю, что в мире происходит? А потом догадался: радио-то сколько месяцев умолкло, а я и не заметил. Да и то, сколько звуков со мной живут. То кукушка в часах пискнет, то печка вдохнет, то половица и крыша потрескивает, а то внизу на речке что произойдет. И до того слух обостряется, что однажды я слышал, как водяная крыса под землей ходы роет. На деревне у нас тихо. Никто не родился и, слава тебе, никто не помер. Да и про меня люди забывать стали. Раз в неделю, правда, прилепает какая старуха из местных, брякнет в окошко. Эй, кричит, Антипов, жив? Жив, кричу, жив! Да и отойдет, дура. Календаря я тоже не знаю. Только когда приходит старый друг, что печку переладил да срамное слово у ей на морде притадил, вот тогда я понимаю, что суббота или воскресенье, потому он приходит в эти дни и мы сидим, пробуем самогонку. И до того, бывает, наклюкаемся, что он у меня и остается на два-три дня. Так что, милый друг мой Егор Иванович, если Вас не озабочит, пришлите мне отрывной календарь, чтобы я знал, какой день. И там под числом написано, какие великие люди в этот день родились. Это будет мне размышлением о бренной нашей жизни. Или есть еще другой численник - великих дат, и там отмечены великие полководцы, артисты, учёные и наш брат, писатель. Это тоже интересно. Милый Егор Иванович, Вы с юмором описали мне как-то про Кошамкина, который отверг Ваш роман. Не держите в уме этого чинушу, не загромождайте памяти. Экий он пузырь! Ничтожный он человек и не самостоятельный. Я таких людей хоть и мало видел на своем веку, однако представляю очень выразительно. Я бывал в городе и смотрел в магазине телевизор. Смотрел на цветную картинку, а сам про себя думал, что-то здесь не так. И уже дома понял. Дело в том, что человек сегодня потерял лицо. Ну не то, чтобы вместо лица было голое место, блин какой, я не это имею в виду. Там все в наличии, и нос, и рот, и уши,

и борода, бывает. А лица нет. Может, я не очень ясно излагаю, но уж как умею. Человек настолько от человека отдалился, что только по приборам каким и воспринимать может. Вот почему теперь воевать стало сподручнее, не видишь, кого убиваешь. Вроде и есть там какой человек, а все его не видно, он вроде цифры, захотел, оставил, захотел, стер. Это я начал догадываться, когда у нас был колхоз, а не деревня, как сейчас, и я работал бухгалтером. Тогда так навострился, что мог любую картину цифрами изобразить, какую скажут. Но тогда еще что-то живое было. Каждую корову в лицо знали и по имени обращались. У нас, может, все это не так остро в глаза бросается, а у Вас в городе все люди, какие есть, оказались обезличены. Всякий надеется пузырем оказаться и другого перерости в величии. А все оттого, думаю, что люди испугались смеяться. Когда заезжал в город, я по привычке все обращать в цифру стал считать, сколько веселых лиц окажется на сто душ, чтоб потом в процент перевести, и когда подсчитал, то впал во мрак и отчаяние. Поскольку лицо нам является своим смехом и смехом же всякое лицо обновляется. И куда все подевалось, это есть для меня тайна и самая неприкрытая фантастика. Так что плевайте Вы на непринявших Вашего великого романа и посмейтесь над ними. Ибо смех — воздух души. Без смеха душа вянет, скучивается и забвению предается. Однако надо кончать письмо. В окно вижу, как мой криволапый друг поспешает ко мне и ногами за землю цепляется. Значит, сегодня суббота или воскресенье. А написал я потому, чтоб Вы не думали, будто меня нет, а я вот он. Храни Вас Господь от всяческих пузырей. Кланяюсь и подписываюсь.

- 26 -

Мы — мистическая страна. У нас все интуицией совершается. Кроме того, мы по плану строим жизнь свою и чужую. Допустим, решили мы вырастить сто миллионов пудов пшеницы. И выращиваем, да! Но не потому, что вот столько-то и столько-то засеяли и собрали, а каким-то иным, прямо-таки мистическим путем. И всякий видит: вот они, сто миллионов, тут они, и все в ам-

б арах. Или, к примеру, решили мы, скажем, вырастить миллион врачей, миллион инженеров и миллион ученых. И что ты думаешь? И выращиваем! Но опять же каким-то заковыристым, прямо-таки мистическим путем. Тут сам черт не разберется, даже с поллитрой. Вроде бы и нет ни фига и вдруг — бац! и все есть. А ты говоришь... Но по-настоящему мистически лишь человеческие отношения. Тут прямо-таки разнузданный разгул мистицизма. Видимо, есть в людях некий орган распознавания — тотчас определяет: свой — несвой. Ну, как собаки свою породу определяют. Маленькая никогда на большую не полезет драться или что другое. Разве для смеха? И еще люблю, когда вижу в машине с нулями едет кто-нибудь. Для меня это праздник бытия. Я бы вообще для них отдельную дорогу проложил. Чтоб все видели, любовались и размышляли о величии. Я же за версту вижу такую машину и где-на повороте, разиня рот, пристраиваюсь, чтобы когда скорость сбавит, разглядеть туза бубнового. Подъезжает. Смотришь: щеки лоснятся, зубы блестят в улыбке, в глазах олимпийский огонь, лоб напряжен в решении государственных. Мате-е-ерый. А на шофера и не смотришь, знаешь: хорошо ему в тени величия, — и не жарко, и не дует. Хотел бы с таким тузом в одной бане попариться, при случае можно кипяточком побаловать, а главное, взглянуть на детали фигуры. Вся спина, небось, рубинами и топазами украшена, а из них какое главное слово складывается. Потому как не может такой великий человек без какого-ж главного слова существовать и своим величием всех благодетельствовать. Никак не может. В этом весь секрет. А самая главная мистика — это откуда такие люди вырастают, — умные, сильные, красивые, благородные, сама доброта неизреченная. Особенно, когда стоят высоко-высоко и орлиным взором своим такие страшные дали будущего обозревают. Когда вижу и слышу, впадаю в экстаз нескончаемой благодарности. А он повернется на восток да как крикнет: Эй! — там все как вкопанное становится. А он повернется на запад да снова как гаркнет: Эй! — и там все как вкопанное. И что страшно: при таком величии такая простота. Бывало, с коня сойдет, ручку пожмет, по плечику потреплет, в книге посетителей распишется. А ты стоишь, как при дурок, немеешь от восторга, а сам про себя думаешь: да за

одно б его дыхание я б жизни своей не пожалел, - на! бери! владей! распоряжайся!.. А восторг растет и растет, и нет ему конца, предела и срока. Так и хочется в пыль обратиться, в прах, да и кинуться под его бодрый шаг. Эх, да что там! Никакому западному рационализму с нами не совладать. Они нас глупым своим рационализмом, а мы их нашей мистикой, да все по мордам, все по мордам.

- 27 -

- Нет, вы уж, пожалуйста, продолжайте, - просил Егор, водя с острым интересом глазами за доцентом, расхаживающим по комнате, как по аудитории перед студентами. - Мы с вами спорим много лет, и вас всегда интересно слушать, особенно в домашней обстановке. Так раскованно и откровенно. А мне это крайне важно. Я дошел до возраста выбора. Перевала. Однако, так ни черта в жизни не понял, да и не научился толком чему-нибудь. Это обидно. Перевалишь на ту сторону, а там - тихо. Или чужие голоса. А надо, чтобы во след. И не брань, а напутствие. И не в проклятие, а во благословение.

Доцент перестал ходить, сел в кресло напротив, сложил руки на животе, крутит большими пальцами, смотрит. Лицо толстое, но не глупое, глаза маленькие, но не злые, губы большие, но вялые.

- Хитришь ты, родственничек, - сказал доцент. - Искусителем прикидываешься. Пугаешь, а мне не страшно.

- Ой-ли? - усомнился Егор. - Вот мы смотрим с вами в глаза друг другу и прекрасно понимаем, что знаем цену всему на свете. Всякую цену. Даже с учетом плавающего курса. Вы можете быть откровенны или прикровенны. Цена - нечто внешнее по отношению к человеку. И мы не обязаны следовать собственным рецептам и проповедям. Были ли Христос христианином? Были ли Маркс марксистом? Это вопрос не одной формальной логики. Если да, тогда они следовали себе, что не обязательно для остальных. Если нет, тогда тем более не обязательно для остальных.

Доцент промычал что-то нечленораздельное, остановил

крутить пальцами, встал, заложил большие пальцы под мышки и покачался с носка на пятку, рассматривая Егора пристально, но без недоверия.

— Интеллигентия, — произнес он с несколько брезгливым выражением барственного лица. — Когда я слышу это слово, оно вызывает у меня разнообразные позывы.

— Понимаю вас, — ответил с чувством Егор, — некоторые слова и у меня вызывают икоту — алгебру смеха. И все-таки, если вы не возражаете... Меня сейчас интересует нравственный смысл вашей деятельности. Это то, что со временем не обесценивается, а, напротив, растет в цене, как все природное. Нравственность внеэтическая. Именно через нее осуществляется связь веков нынешних и минувших. Все остальное — дело полиграфии, передача суммы информации и так далее. И поскольку вы в своем деле являетесь тем узлом, через который осуществляется связь, интересно узнать, как вы сами определяете нравственный смысл своей деятельности.

— Вот привязался, — с деланной досадой проговорил доцент и снова сел в кресло у столика, удобно обмяк, неторопясь, со вкусом, закурил, но дым не втягивал, а подержав во рту, тут же выпускал смешными облачками вверх, под потолок.

— Да нет у меня никакого нравственного смысла. Да и ни у кого, пожалуй, нет. Сейчас много интересных людей, но мало личностей. Ты не заметил? Ну, в том смысле, чтобы были выпущены самостоятельные характеры. Чтобы сказал себе человек: а вот этого я никогда не стану делать, потому что это зло. Нет. Сейчас любой может сделать любое. Добро — дело трудное, редкое, а пакость всегда под руками. Вот и делают. Совесть? Ну, так ведь до совести дело не доходит. Это тумблер-аварийный. Он почти никогда не включается. Опасно. Предохранители перегорят. А так работаешь потихоньку на среднем режиме: взял, снова дал — снова взял. Хорошо, если берешь больше, чем даешь. Это закон выживания. Если наоборот, даешь больше, чем берешь, тогда ты либо святой, либо дурак. И то, и другое подозрительно. Таких обычно выталкивают в сферу, где ничего нельзя сделать и ничего от тебя не зависит.

— А вам случалось, Андрей Ардальонович, сделать пакость?

— Отчего же нет?? — удивился доцент, обращая на Егора маленькие проницательные глаза. — Очень даже свободно и независимо от меня. В этом процессе всегда есть некая тайна. Она заключается в том, что никто конкретно, лично, не повинен в пакости, и не несет ответственности. Нельзя сказать, что вот тот-то или тот-то устроил пакость и довел ее до конца. У пакости нет источника, из коего она проистекает. Она вырывается сама собой, как нарыв общественного сознания. Это коллективное творчество. Тут даже и не заметишь, как оказывается вовлечен в пакость. Потом уж, когда дело сделано, невзначай спохватишься, поежишься зябко: мол, что же это такое, как ты дал себя в пакость втравить? Да и успокоишься, решишь, что уж в следующий раз... И так далее до самой смерти. А потом никто и не скажет, что ты был негодяй. О мертвых плохо не говорят, и сраму они не имутъ. А потом все забудут, — и те, кто заваривал пакость, и те, кто расхлебывал... Ты знаешь, туда даже своя гармония есть и свой интерес. Ты выражашь свой протест против зла — сослуживцам, родным, близким. Друзьям. И все они видят: ты человек хороший, так сказать, гуманист, поскольку ни тебе лично, ни другому пакость эта и даром не нужна. Ее даже и в руки противно взять. Это как мяч на футбольном поле — гоняют все, а потом, кто ловче и влепит. Гол!

— А ваш... аварийный тумблер... никак не реагирует?

— Зачем? — спокойно возразил доцент, вмял потухшую сигарету в морскую раковину. — Еще коньяк?

— Да, капельку... Благодарю, достаточно. Итак?

— Все намного проще, чем ты представляешь себе, любезный мой родственничек. Во всякие времена существовала бездонная выгребная яма. Как только переполняешься угревениями — сбрасывай в яму. Она называется "современное общество". Из этой ямы все стекает в Лету. И еще: у пакости есть родовой признак, — ее нельзя совершить намеренно. Нельзя сказать: вот сейчас я совершу пакость. Ничего не получится. Она самозарождается, саморазвивается, самораспадается. Какой-нибудь энтузиаст может, конечно, тешить себя мыслью, что это он совершил пакость, а не она дала себя совершить. Но это за-

блуждение. Пример: твоя анонимка. Интересный общественный тест. Мои коллеги как-то враз у不可缺少: запахло пакостью, на-вострились. Но ничего не вышло. Ну, как-то само собой -- не вышло, и все. Анонимка в конце концов вернулась ко мне с блестательными резолюциями начальства... Нет, не подумай, что мир не способен на благородство. Это также случается. Об этом в газетах пишут. Но есть один принцип равномерности общественного сознания, а именно: поскольку благородство всегда весомее, постольку общее количество пакости должно превышать количество благородства в четырнадцать целых тридцать восемь сотых раза... А может, я просто брюжу ввиду надвигающейся старости? Мне уж о Боге пора думать, а я еще с этим миром никак расплеваться не могу... Всегда спасает надежда покаяться. Бить себя в грудки и вопить: братцы, грешен я, мерзавец, каюсь! И ведь простят. И, может, в историю пустят. Так что, как ни крути, а все едино получается. А тебя я понимаю, как хорошо понимаю, сам когда-то через это прошел. Совесть -- болезнь возраста. Как переболел -- так и от страхов избавился. Тогда ты -- король. Так что, как только слышу слово "интеллигенция", ощущаю позывы на покаяние...

- 28 -

Голова большая и голая, в темных морщинах, а на лбу -- координатная сетка морщин. Надбровные дуги, как у волка, и брови -- густые и пегие, седине не пробиться наружу. Глаза глубокие и блестят, как вода в колодце. Костистые плечи -- эпюрай: годы. Рукав пиджака подвернут под мышку, пришит. Другая лата, как корневище в мозолистых наростах. Голос...

- Принимаешь?

Стоит на лестничной площадке старого-престарого и все еще -- со времен достоевщины -- вонючего петербургского дома. За спиной -- квадратный рюкзак со скарбом: ложка -- кружка -- вилка -- нож -- две пары белья. Любимая книга? "Тихонов, Сельвинский, Пастернак?" И давным-давно говорил: "мой отец сразу после революции подавался за хлебом аж в Аргентину: легок на ногу русский мужик".

— Как умел сложить, так и сложилась, — говорил, сердясь на себя, Егор. — Ни лучше, ни хуже, а все как-то по-иному, не так, как предполагалось бы.

А сам думал: искренним бывает только крик, а полуслепотвист, закоулочен, настораживающ. А сам думал: не все ли равно? На Руси хоть и жизнь внове, да и та — старая безделица — в песок, в глину, в прах отходит...

— Вас-то какими ветрами крутило? — спрашивал Егор с любопытством: не покажет ли, как с бытием своим обходиться?

— Что за разница? Бывал и в Сибири, и здесь, в европейско-русских городах, — в Галиче, Ростове, Орле, Казани, Горьком, Астрахани, Ставрополе — и так далее и тому подобное. Не памятники старинны смотрел, а людей. Памятники старые я и прежде знал, а новомодные — нейтересны. Что идолы, что камни воздетые, без любви воздвигнуто — без гнева разрушится.

— Это — опыт, ваше хождение, — завидовал Егор.

— Какой там опыт! — широкой ладонью отмечал старик. — Опыт, когда люди разные. А когда на одну колодку, тогда? Это скорее опыт размышлений, а не опыт наблюдений. Много людей ходят по земле, — по улицам, по дорогам. Нетерпеливые. Путешественники. Без корней, без основания... Дармоэдов много...

— Как же это вы определили, кто дармоед, а кто нет?

Старик смеется:

— Дармоэда я по походке узнаю, а когда ближе — по глазам. Как у собак, к месту не приспособленных, некая тоска бездомности. Нет, милый, дармоедство — наша национальная болезнь. Не приспособлены люди к настоящему делу, не привязаны.

— Вы не совсем правы, — говорит Егор. — Вся цивилизация — процесс освобождения человека от излишней привязки. Расширение границ человеческого передвижения в пределах континентов и за пределы планеты. Человек все больше и дальше передвигается.

— Молодец твой человек. Сколько его железная дорога перевезла, сколько самолет, машина, а зачем?

— Как зачем?! — воскликнул Егор. — Увидеть, познать, сравнить.

— Ну и что? Изменилось что-нибудь оттого, что он увидел? познал, сравнил? Ничего не изменилось. А ты троеверец: и в прогресс, и в регресс и в святого духа. Вот так-то, Егорий — бедоносец, всякий твой прогресс оборачивается потерями, да такими, что в итоге никакой прогресс не вывезет. Шаманы вы все. И заклинатели. Погубит вас отсутствие реализма. Нет ни силы, ни смелости взглянуть окрест себя незамутненным оком. Взглянуть да всполошиться: что же это такое мы делаем? Что ж мы детям нашим оставляем — какую землю? какой воздух? какую пищу? Мне-то что — я одной ногой в землю целись на сохранение, а ты? Я потому и пришел, чтобы спросить: неужели и твое поколение проиграет вчистую, как и мое? Ведь сколько мне врать приходилось, сколько врать! Это ж уму непостижимо! А ты? Что оставил за собой?

— Полно вам, — уговаривал Егор, — не судите да не судимы будете. Придут другие люди и, возможно, спасут то, что мы не успели разрушить до конца.

Крякнул старик и выругался бы, если б его не остановило какое-то долгое, выношенное терпение к людям.

- 29 -

Многая Вам лета, любезнейший Егор Иванович. Снова пишет Вам тот старый хрен, который все прыгает по благословенной земле, прыгает, прыгает и до чего — ничего допрыгает. Деламои хороши, да малы, все в одной горсти, в малой пястке уместятся и еще просторно будет. И между тем почувствовал я в себе остатние силы куда-то употребить, чтоб польза была. И вот какая со мной оказия случилась. Однажды ввечеру в одно из последних воскресений мая, когда мирно сидели мы с ближайшим другом моим Евстафием Кудыриным — он каких-то татарских давних кровей и лукав ужасно, но печи кладет умеющи и мастеровито, и об этом я тоже пишу в своем романе — сидели мы, естественно, не насухо, и невзначай взбрело нам в пьяные башки, что в наших местах клады водятся, будто бы Кудырин наверное это знает или ему сорока во сне наворожила. И мы, обеспамятев, взяли лопату и отрядились в лес по-над реч-

кой клад копать. Кудырин, нехристь, божился, что ему это два раза чихнуть - клад обнаружить. Естественно, по моей хромоте, если Вы помните, у меня одна нога короче другой и оттого валенки по-разному снашиваются, так по моей инвалидности я далеко ходить не приспособлен и мы опознали место недалеко от моего дома, недалеко от берега, но в лесу. Кудырин водил, водил кругами, а затем воткнул палку в землю: "здесь копай". Так я на полную лодату и засадил в землю-то. И как пласт отвалил, так оттуда ударил фонтан земли и образовался родник, да такой бойкий и радостный при взошедшей луне, будто он век ждал, когда его освободят. Это все ладно, в наших местах родники бывают, земля слоистая да бугристая. Но дело в том, что Кудырин припал к источнику по причине по причине жажды и наслебался этой воды, а на следующий день у него пропала пупочная грыжа, мучившая его со временем войны с немцем, когда Кудырин со страху в одиночку попер с орудием на высотку, оттуда стал забрасывать немцев, за что впоследствии получил грыжу и правительенную награду. И как у Кудырина рассосалась болезнь, так мы с ним смекнули, что отринувшийся нам источник есть чудодейственный. Мы порешали с Кудыриным держать дело в секрете, естественно, остерегаясь, что набегут пустые люди и все порушат по своей животной жадности. Но Кудырин кому-то сбрехнул, и недели через три около родника уже народец толпился, да все не наш, а захожий. И все с банками-склянками будто бы для больных и хворых. А еще позже пришел поп и святил источник, и я вроде оказался смотрителем чудодейственного источника, поскольку недалеко от моего дома. Имя ему дали - Николин источник. Добрые люди чистым камнем обложили горло, сделали сток, а в изголовье поставили маленькую иконку чудотворца. Так что теперь я при деле общественном, слежу за порядком и безобразить не даю, чтоб ноги не мыли и не загрязняли небрежением. И вот фокус: меня-то также Николой звать! Так что мы с чудотворцем на равных работаем: он дал воду, а я охраняю. И по своей бухгалтерской привычке все переводить в цифру я начал вести статистику исцелений, учитывая только те случаи, которые мне доподлинно известны, и не учитывая мелких исцелений. Серьезных три: од-

но бесплодие, одно отложение солей и одна падучая. Это если учитывать, что исток по-настоящему зачудил недавно. Вот такие у нас сбегаются события. И очень любопытно, потому как наша деревня была, собственно, не деревня, а как обрубок, обмылок выморошенный, а теперь это живое место, поскольку исток, а к нему разные народности являются и все мне рассказывают, так что мне и радио не надо, я и так про все, что людей волнует, знаю от них самих. Так что, дражайший Егор Иванович, если на Вас перекинется какая болезнь, так Вы к врачам не ходите, потому как это без толку, а пряменько приезжайте к нам. Даже если это будет у Вас не явная болезнь, которую можно по симптомам и иным причинам распознавать, а даже если это будет крутая тоска, которая, говорят, нападает на людей умных и интеллигентных. Тогда Вы и приезжайте. Ваш роман я аккуратно переписываю на чистых оборотных листах старых бухгалтерских книг, которых у меня еще полчердака. И попрежнему на разграфленных сторонах я рисую акварельки. Так что Ваш роман будет явлением в своем роде уникальным, когда я закончу работу. И даже, если Вы не возражаете, мно себя отчасти Вашим соавтором. И еще меня затормозила одна фраза из Вашего романа. Два персонажа перекидываются в споре, и один говорит, что Россия тогда успокоится, когда столько же русских будет, как в сообщающихся сосудах, в пределах, сколько за пределами. Я изумился: как это возможно? Развяжите мне, недостойному, что сие означает. Если это военными способами, тогда другие страны возмутятся и не позволят. Если это мирными средствами, тогда своя держава возмутится и не позволит. И как только я пойму, так сразу и пойду дальше переписывать Ваше замечательное повествование. Продолжаю я и самостоятельно свой роман жизни. Признаюсь, правда, что мне на свой роман времени остается с наперсток, — все-таки исток требует и заботы, и догляду. А вообще живу я хорошо, чего и Вам всемерно желаю. Пишите и помните своего провинциального эпистолярщика. Кланяюсь и подпись прилагаю.

Как жить. Испытать все, что уготовано. И до конца некий неизвестный огрызок бытия. Пройти его и узнать, чем все это разрешилось. С нами кончается все остальное. Дальше неинтересно. Дальше молчание. Гамлет. Устать и ждать покоя. Счастье — неосуществимо. Слава — мелочна. Свобода выходит из употребления. Каждый влакит и продает свою концепцию свободы. Как разношерстный костюм: только по этим плечам. Неторопливую мудрость не волняют сердечные бури и духовные ураганы. Познать многое и ничем не обольститься и неторопливо течь по рассчитанному пути, чтобы выйти в океан небытия. Прошлое — след на воде: возмущенные струи сплетаются, смешиваются, остаются позади, и нет привычки и досуга к воспоминанию. Память прошлого — обесточена, память будущего — обнравственна. Бахтин. Приходишь и обнаруживаешь: ничего нет, — дом разрушен, жена ушла, дети разбежались. Втыкаешь в землю кол и привязываешь козу. Она одета в жилетку из овечьей шерсти. Холодно.

Трилогии о нравственности. Сопровождаемые прилизительным смыслом слова произносят:

доцент. Упорно пишет себя с большой буквы, а зачем? Возраст — за пять лет до пенсии, если успеет. Прочитал 13. 857 книг и устал, теперь ничего не читает, а просто думает, — не так утомительно. Фигура в форме: теннис. Пиво? Едва ли. Коньяк? Похоже: расширяет сосуды и повышает тонус. Блондинки? брюнетки? Какая разница: "на время не стоит труда, а вечно . . . . невозможно" /Лермонтов/. Увлекается собой;

бродяга. Из "бывших": бывший фронтовик, бывший учитель, бывший однорукий. К моменту разговора в городе на Неве сделали протез, а зачем? В продолжение разговора — он происходит

на поляне в курортной зоне города трех революций — протез.. .  
висит на сучке дерева, хороший протез, может спички зажигать.  
Бывший прочитал 12.464 книги, из них 348 те же, что и читан-  
ные доцентом, однако по формуле Кониуса их точки зрения мо-  
гут совпадать лишь в 8 случаях из 100, но поскольку выбирать  
сто точек зрения едва ли придет им в голову, следовательно;

Е.И. — Егор Иванович — пишет или написал роман, может,  
не один, а зачем? Иногда одна его точка зрения не совпадает  
с другой его точкой зрения, и это всегда его смешит. Возраст  
половинка на четвертинку. Цвет глаз — серынка на зеленинку,  
и это важно: самые умные глаза — зеленые, самые глупые —  
черные. Карие — у женщин, склонных к истерической домовитос-  
ти, но это не имеет отношения к трилогии.

Земля теплая. Трава зеленая. Воздух жаркий. Атмосфера  
насыщенная. Небо синее. Голова ясная. Движения ленивые. Ста-  
каны блестящие. Вилки тяжелые. Огурцы хрустящие. Заливное  
дрожащее. Жизнь предстоящая. Смерть отстоящая. Тоска настои-  
щая.

Доцент, лежа на боку, опираясь на локоть:

— И вот я утверждаю: на земле — мир, а во человечах —  
недоумение, — что ни голова — в боль, что ни сердце — в плач.

Е.И.:

— Это вы задумчиво говорите?

Доцент смотрит на бродягу, тот широко лежит на спине,  
откинув одну руку, кажется, правую:

— Конечно, задумчиво. Какая у вас, однако, шея складча-  
тая. Как у скучающего питона.

Бродяга, еще более воздевая подбородок и щады:

— Самые мудрые становятся питонами. И я. Начинаю с шеи.  
А вы, милейший, увлечены в отриятиях и застенчивы в утвер-  
ждениях. Это говорит о перезрелости ума и вялости души. При-  
летят птицы забвения, склюют зерны поступков, — чем душу  
накормите?

Доцент, важно:

— Зачем душу кормить? Она святым духом питается.

Е.И., хихикая:

— Хорошо, если святым, а если не святым? Тогда не дух,  
а вонища. От вонючей души пыль смердит.

Доцент, истово:

— А мы ее дезодорантом, дезодорантом!

Бродяга, подходит к дереву, прикуриивает от протезной руки, возвращается, ложится на траву, откладывает в сторону руку, кажется, правую, курит:

— Эх вы, аквавитное братство. Жаль мне вас: ни любви в вас нет, ни злого устремления.

Доцент, саркастически:

— Себя пожалейте.

Бродяга, спокойно:

— Себя мне жалеть без резона. Я уж с обратной стороны за жизнью доглядываю. Без сожаленья, без участья. Смотрю, угадываю, чем это может закончиться?

Е.И.:

— И чем же?

Бродяга:

— А ничем. В наших схожих все возможно и ничего не происходит. Воздуху не хватает. Только натужимся, напружимся, напряжемся и все уходит — пардоньте — в это самое...

Доцент, задумчиво:

— А народ, между тем, живет, хлебушко жует и думать не думает согласно сгрудиться вокруг...

Е.И., наполняя стакан:

— Не трогайте мой народ!

Доцент, мирно:

— Не тронем, не трепещи, а то попережнемся. Нет, мужики, у нас что-то не получается разговору. Давайте сначала.

Е.И. допивает из стакана и облизывает изнутри языком:

— Братцы, мы не с того конца начинаем. Давайте распределим роли. В любом трилоге важно роль свою выучить. Нас здесь собралось три поколения. Старшее — я указываю на бродягу — это будет сенсей. Среднее — я указываю на доцента — и полусреднее — я указываю на себя. Мы собрались, чтобы в дружеском общении выяснить для себя и объявить урби эт орби, что мы думаем по этому поводу. Ставлю первый вопрос: что есть бессмертие?

Бродяга, лениво, не поднимая головы, выплевывает папиросу:

— Какая пошлость! Протестую! Этот вопрос, обращенный ко мне, звучит оскорбительно. Доцент, скажите ему, чтобы не заносился.

Доцент:

— Егор, не заносись.

Е.И.:

— Господа, послушайте, ведь если не о бессмертии, тогда и говорить более не о чем!

Бродяга:

— Коммуникативность только в относительном. Бессмертие — безотносительно, эрго, оно некоммуникативно. Все. Цепи. Сэнсей дикси.

Доцент:

— Ну что, корень, ловко он тебя? Пробуй еще.

Е.И.:

— Тогда давайте потолкуем о тайне бытия. Чур я первый!

Сэнсей:

— Врешь, недоумок цатлатый, в тайне бытия нет тайны.

Тайну бытия измыслили люди, чтобы друг другу казаться умнее и глубже. Сам по себе исходил я дороги и тропы, людского безумья глубины самолично измерил, измерив же, убедился, что все они довольно мелки, все на свете есть следствие химии и электричества, то бишь движения и сопряжения элементов и электронов, а также вся экономика и пищевая промышленность.

Е.И.:

— Нет, не правы вы, сэнсей многомудрый. В каждом из нас наша тайна спит беспросудно, если ж проснется, то станет весь ма безрассудна и может наломать столько дров, что щепки полетят.

Доцент:

— Летящие щепки — коэффициент бесполезного действия.

Сэнсей:

— Вашу тираду оставим мы без вниманья, ибо вы даю себе еще избрали, если б вы знали по сути, о если б вы знали, что вашей тайной давно владеют другие!

Доцент:

— Нет, вы меня не страшайте, молю, не страшайте. С детства меня застрашали взрослые люди, так застрашали, что мне

Уж не ойкнуть не пискнуть, хоть и считают меня студенты математической гуру, но, застращенный, не выдам я тайн бытия.

Е.И., в сильном волнении указывая на дерево:

— Зрите, калеки, — протест, на березе висящий, дулю нам кажет с ногтем нестриженным, длинным!

— 32 —

Любезнейший наш Егор Иванович, спешу поведать о великом и непостижимом чуде. Открывшийся в наших краях удивительный николин исток оказался — таки с градусом. Это впервые обнаружил мой друг и сподвижник, печник и мухобой Кудырин. Вернее, я обнаружил, что как это так Евстафий всегда под градусом. Я его выследил и застукал. Мы порешали это дело держать в секрете. Все ostatние мужики деревни собрались у меня в избе и постановили: если кто ляпнет про градусы, тому голову свернем, а Кудырину две. И чтобы бабки всякие и немощные не бунтовали, мы с Кудыриным чуть подале открыли другой исток, а наш, градусный, замаскировали. И пошло у нас тайное пользование. И пока я недели три разбирался с этими святыми водами, то уж никак не успевал переписывать Ваш великий роман. И свой роман жизни также несколько забросил. И как Вы увидите по присланным мною листам, даже акварельки на обороте пошли у меня со странностями. Кудырин как взглянул, так и кричит, будто черта узрел: "Авангардист!" Я думал, Евстафий бранится и хотел, ощущая агрессивность, съездить ему по чайнику, но он меня успокоил, что сейчас в городе все так ругаются. Так что не гневайтесь, добрейший наш Егор Иванович, как могу, так и рисую. И еще у нас одно чудо, поскольку, как Вы догадываетесь в своей образованности, мы живем в чудесные времена в чудесной стране и рождены, что б скавку сделать — билью. Это я вам сообщал про излечение бесплодия от пользования водами николина истока. Так это оказалось даже вообще бесспорочное зачатие. И хотя такие факты давно описаны в литературе, однако многие у нас поиспугались и даже произошла вспышка религиозного сознания. Эту брюхатую девицу хотели

приезжие из города люди изъять якобы для обследования, но наши бабы вцепились и не отдали. И тогда прибыл из города официальный человек и повелел всем держать язык за зубами, а кто без зубов, так чтоб руками придерживал. И прямо заявил: иначе без языков останетесь. Раз в неделю приезжает в деревню из города доктор и в присутствии при наличии баб осматривает эту девицу и потом уезжает задумчивый и невеселый. А по деревне шепоток: что-то будет, неужели? И все ахают и становятся чрезвычайно добры друг к другу. И вообще во всем этом деле есть некая тайна и холод по спине. И еще про исток. Кудырин со слюной на бороде божится, нехристь, будто в тот день из истока выглянула куриная головка золотой рыбки и вещает: тебе чего, Евстафий? А Кудырин, не будь придурком, глаголет: дай, рыбка ты наша, маненько градуса в воду николина истока. А рыбка подумала недолго и шепчет: хорошо, Евстафий, тока мотри, чтоб люди не спивались, так ты сам следи за распорядком, и я тебя назначаю ответствовать: пусть люди приходят к истоку дважды в день, - в двенадцать ноль ноль и в девятнадцать ноль ноль по гринвичу. И тогда наши мужики скинулись купить Кудырину электронные часы с фантастической точностью хода, а затем смотались на чугунку, отвинтили рельсину и повесили в лесочке, чтоб Кудырин куранты отбивал. Так что, дражайший Егор Иванович, жизнь наша, прежде бестолковая, вошла в ритм. Чего и Вам желаем. Простите, что резко обрываю письмо, поскольку слышу звон и знаю, где он, а у истока и наш почтальон случится и письмо доставит на велосипеде на почту. Клянусь всемерно и прошу помнить недостойного своего эпистолярщика.

- 33 -

И потом, - от того ли, что стыдно стало зреть пустую посуду, по причине ли огненных дум, только пошла у них ку-ролесица, - так все воспламенились. Сэнсей так тот прямо вскипал и на докента разными нерусскими словами начал кидать-

ся, а доцент, кому сказать, ничего путного не находилось, так он все больше про политику взвизгивал да про диалектику кукарекал. Один Егор, как общий их ученик, вертел головой то к одному, то к другому. Даже черный блеска матового протеза на бороде висящий, так и тот расцепил дулю и пальцы растопырил в удивлении. А промеж мужиков такие высокие материи затянулись — что Егор, втравливая, так прямо по траве катался от непереносимого кайфа. Сэнсей кричит махатме гуру: ты, кричит, хоть растрясь доцент, а все дурной, и твои ученье-разученые степени есть натуральный шик, не боле того. Ты не разумных студиозусов чему учил, а? А тот восклицает: диалектика! А этот тому: да тебе с твоей диалектикой должно людям в глаза не смотреть от стыда. А тот ему: да мы с моей диалектикой сто лет живем да здравствуем, и ничего. А этот ему: да хоть тыщу лет живите, а что толку? В кого людей превращает эта твоя диалектика? Егор же только подзуживает: вы, грит, разные книги читали, оттого и договориться не можете, это, грит, уму непостижимо, чтоб из одного университета три столь разных человека получилось. А сэнсей кричит: я, кричит, жизнь до самого дна ложкой проскрябая и знаю, где пена, а где навар. Махатма гуру же возглашает: история, возглашает, не законами быта движется, а законами диалектики и классовой борьбы. А сэнсей в ответ: мне на твою классовую ..., если я наглядно вижу, что происходит. Вы, грит, за классовую борьбу держитесь, как баба за ..., чтоб головы дурить. А Егор отполз в сторону по траве, лежит и думает: это ж надо, из-за пустяка такое брожение умов проистекает.

- 34 -

Свидетельствую: есть две жизни на всякую, — жизнь плоти и жизнь духа. Плотские существа — и люди тоже — собранные вместе, кажутся издали единым и нерушимым монолитом, а рассмотренные ближе, являются отдельными песчинками, в каждой из которых заключена своя суть. Жизнь плоти всегда ог-

раничена в пространстве и времени и может пребывать только в данном пространстве и в данном времени. Жизнь плоти - это всегда жизнь в настоящем, и ни в прошлом, ни в будущем жизни плоти нет, поскольку жизнь плоти всякий раз и всегда осознается как своя, данная, сейчасная. Иное дело - дух. Он может свободно, без границ и пределов, перемещаться на всем протяжении существования человечества. Если закон плоти - распадение, то закон духа - поиск. Чего ищет дух человеческий и находит ли - все это предмет размышлений многих поколений. Незначительная часть ученых, называющих себя материалистами, утверждает, что никакого духа нет, если его не удается обнаружить инструментальными чувствами. Но это вполне детские представления и утверждения, вызванные юнкеренным самомнением и ограниченными возможностями. Когда хирург рассекает тело больного и уверяет, что нигде не обнаружил духа человеческого, а обнаружил мышцы, сосуды, нервы и прочее, это следствие ограниченности человека, именующего себя хирургом. Когда астронавт утверждает, что он всю землю облетал и нигде Бога не видал, это также вызывает улыбку своей детскостью и самоуверенностью. Как не может ребенок научиться грамоте, не познав вначале звуков и букв, так и человек не может познать жизнь духа, не научившись распознавать формы, виды и способы бытия духа. И поскольку большинство школ зиждется на прагматических, материалистических основах, поскольку большинство людей не ведают жизни духа и не узнают, когда он является, и с забавным пылом утверждают, как некий знаменитый сумасшедший: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Даже размышляя и рассуждая о бессмертии, человек мыслит бессмертие плоти. Но законы плоти и законы духа - противоположны, разны. Энергетический закон плоти - распадение, угасание, исчезновение. Энергетический закон духа - усвоение, нарастание, освобождение. Это как два сосуда или две воронки, приставленные друг к другу, сопряженные узкими переходами. Полное перетекание энергии из плоти в дух, из сосуда в сосуд - это и есть исполнение человеком своего предназначения. Но как растение или дерево, или животное не всегда достигает максимума своего воз-

можного развития, так и человек не всегда способен перетечь из плоти в дух. Гораздо чаще этого не происходит по причине внешнего по отношению к человеку свойства: обстоятельства, люди, эпоха препятствуют проявлению джи-фактора или изменяют его направление. Если джи-фактор все-таки достаточно велик — а он должен быть на четверть объема больше, чем он может быть реализован — тогда человек является в полном своем развитии, из существа тварного становится духотворным. Но это наблюдается настолько редко, что лишь семь с половиной процентов людей на общую массу могут быть названы в полном своем развитии. Они могут быть определены как носители цивилизации. Менее пяти процентов таких людей на массу человечества следует признать критическим, поскольку процесс деградации может стать неуправляемым, и человечество начнет терять те ценности, какие освоены в долгом пути развития. Что касается бессмертия, то оно возможно в сле...<sup>1)</sup>

- 35 -

Белый: небо, облака, снег, стена, рубашка, лицо, белки глаз.

Зеленый: небо, облака, снег, стена, рубашка, лицо, белки глаз.

Красный: небо, облака, снег, стена, рубашка, лицо, белки глаз.

Миллионы лет: дни и ночи Брахмы, века, эры, столетия, тысячелетия, эпохи, периоды — солнце уливает на запад. Безостановочно, неумолимо — равнодушно.

Егор перекатился на спину, всмотрелся — сердце дрогнуло жалостью: гонимое ветром, как пенная кровь, красно-белое облако тщилось ситься с зеленью сумеречных небес.

Махатма гуру, укладывая посуду в гиперсумку, напевал

<sup>1)</sup> на этом часть рукописи обрывается /примеч. автора/.

в голос:

- Третий тайм мы уже проиграли, и должны нам сегодня сказать.

Сэнсей, без рубашки, приложив к левой верхней части груди черно-лаковый полистироловый протез - ладонь и пальцы черные: для однорукого негра.

Сэнсей ворчит:

- Черный - неприродный. Вне цветовой триады русского сознания.

Махатма гуру:

- Земля? Деготь? Пепелище? Сажа?

Сэнсей:

- Радуга, коричневый, серый, радуга.

Егор:

- Господа, я устал от наших когнитивных игр. Давайте спустимся на аффективно-эмотивный уровень. Именно на нем рефлексивно-поисковая компонента нашего сознания в ситуативно-вариативной среде может совместить базальные и надстроечные модели реальности.

Сэнсей; надевая рубашку, засовывая полы в брюки:

- Вопрос: что держать по ветру, - флаг или нос?

Махатма гуру, протягивая Егору сумку и обращаясь к сэнсею:

- Коллега, разве этично бросать камни размером с огород? Вы же оставляете меня нищим!

Сэнсей:

- Зато сраму не имати. Сэр, предъявите вашу структуру.

Егор, забрасывая сумку на плечо:

- Господа, я предлагаю: пока вы пикируетесь по пути на железнодорожную станцию, позвольте мне исполнять роль хора. Иными словами, я стану резюмировать ваши диспозиции, а?

Давайте так?

Сэнсей:

- Угу. Ты не пальцем делан, не луком шит. Валяй. Резюмируй.

Махатма:

Сильвуплей. Я полагаю, в сегодняшнем разговоре мы подошли к стене. Тупику. И если мы обладаем интеллектуальной честностью, то должны либо вырваться за пределы обыденного, и тогда нас ищи-свищи, или признать собственное поражение...

Егор:

— Статистическое накопление действий не непременно приводит к поступку.

Махат:

— Разумеется, и я, повидимому, должен воплотиться в принцип Эшби, и как управляющая собой система провести оценку собственной эволюции. Если мы рассмотрим сферу имманентной структуры меня, то есть систему ценностей модели установки на деятельность, то следует признать, что я достиг вполне определенной и позитивно насыщенной зрелости развития, а именно: я — автор трех монографий, сорока восьми статей, четырнадцати предисловий, семи послесловий, двенадцати комментариев, пяти поименных словарей, пятидесяти шести дефиниционных примечаний, одного телеминтревью...

Сэнс:

— Это убедительно на имманентном уровне, а рационально?

Его:

— Осознание человеком своей собственной структуры есть конструктивный концептуализм.

Мах:

— Рециципиентуально: за достигнутый мною научный уровень исследования законов общественного развития я удостоен ученої степени доктора наук.

Е.:

— Личность — совмещение теории и практики человека.

С.:

— А критическая точка разрыва сфер эволюций: имманентной и рефлексивной?

М.:

— Вы правы, коллега, именно в этой точке, когда гипертрофированы отдельные элементы системы, возникает потреб-

ность самоописания, потребность создания модели самого себя. Практически это означает - встать в полный рост перед собственной совестью...»

- Совесть - интроспекция личности.
- И суд последний и правый вручаю Божьей воле...
- Бог - метаструктура человека.
- И если суждено быть чуду...
- Чудо бывает двух видов: рукотворное и болезненное.

Первое делаешь ты, второе происходит с тобой.

- В партизанскую щель видна горная красота бывших могил.
- Нездешняя музыка с горных высот заглушает тутешний гул.

- Печаль на печали не чает печати отчаяния.
- Деревья зеленеют, а гуманоиды гниют на корню.
- Поэты блаженствуют, а интеллигенты остаются.
- Все они льют масло на чужие кофейные мельницы.
- Неофашисты поднимают головы, а неолибералы руки.
- Осадок инфляции выпадает в душах.
- Религиозное возрождение на востоке - икотой на западе.
- Наркотическая вялость обжирается рефлексией социума - искусством.
- Реализм умирает от истощения.
- Эстетическая мастурбация втекает в духовную импотенцию.

- Правительства тучеют, а народы прыгаят.
- Черное шьется белыми нитками, а белое кроется благим матом.
- На идеологической помойке страх насищает свободу.
- Доброхоты визжат.
- Европа задумчиво сползает к пропасти.
- Тупое недоумение надежды обращает тусклый взор на рельсы.

- Два больных паровоза бодро бегут рядом.
- Один в царство разума, другой в процветающее общество.
- Сумасшедший стрелочник выходит на промысел.
- Его встречают два хора.
- Неверующих во что-либо и верующих в ничто.

- Наземная музыка касталяет: в стволы входят пули.
- Их крепкие головы знают то, чего не знает никто.
- Цель.

- 36 -

Досточтимый Егор Иванович. Перво-наперво доложусь про житейское, а затем поговорим о духовном и возвышенном. Наш николин исток работает исправно и поднимает настроение дважды в день. Кудырин приспособил кран и назвал "евстафьеватруба". Мужики, бывает, собираются допреж звона и дуют, маются. Это именуется "маевка". И устанавливается, что до звона всякий приходящий рассказывает историю, то страшную, то смешливую. Страшные байки чаще случаются в первую половину недели - до среды, а которые со смехом - в остальные дни недели. Правда, последние дни мужики приумолкли, потому как исчезла из деревни та девица, которая оказалась с беспорочным зачатием. Так-таки взяла и пропала, будто корова языком. И как поется в народной присказке, ищет милиция, ищет народ, где эта дева теперь живет. А бабы наши и вовсе приуныли. А все-го-то и было, что пошла девушка по грибы в ближний лесок, да и не возвернулась. Мы уж на маевке и так и сяк рядили и порешали, что не иначе ее леший увел. Кудырин, мой соподвижник и балабол, божится, нехристь, что будто бы православие приходит в умаление и запустение, оттого и лешие стали чаще выходить без боязни и опаски. Ему верить нелепо, ибо книг не читает да и буквам, вероятно, не обучен или забыл, а все больше своим ~~умом~~ одумом про все рассуждает. По моей склонности к цифре, которая прямо поразительно живуча во мне, как осины на морде Кудырина, я подсчитал, что православие не может прийти в больший упадок, чем это позволяет статистика, а статистика, которая все знает да не всякому скажет, утверждает, что население любой страны в одну треть - верующие. Хотя многие в этом не признаются ни себе, ни соседям. Но это, слава тебе, никак не отражается на народном хозяйстве и благости.

В нашу деревню грозят провести какую-то реку прямо с севера и в южные районы, где воды вовсе выпадают по стакану в день зубы почистить. Евстафий уж подбывает мужиков на той реке строить плотину и рыбу удить, поскольку в нашей, малохольной речонке ни хрена не водится. Только никак не можем решить, что предпринять, когда по той реке приплывут с севера медведи. Бить-то их нельзя. Белые медведи вместе с черными лебедями занесены в красную книгу. А Кудырин, упры фиксатый, горгочет: мы, дескать, красных книг не читали, так и можем делать, что хочим. А мужики ему: вместо чтоб языком попусту чесать, начал бы к зиме в лесу возле "евстафьевой трубы" печь класть. А я, как рисовальщик, наладился создать проект беседки вокруг печи. В стиле рококо или барокко, мы еще не решили. Это все наши будничные дела. А больше нас беспокоит история с девицей. И мужики просят: отими ты своему корреспонденту, пусть выяснит вопрос. Так что, многоуважаемый Егор Иванович, вы уж посмотрите по литературе, какую найдете, что и как в прежние времена темные происходило с беспорочными зачатиями. А то мы себе покоя не находим. Сначала сомневались, гадали, кто из местных мог согрешить невзначай. Всех разочли и не обнаружили. А тут соседний с девицей мужик вспомнил, что будто бы видел, как возле ее дома вертелся белый голубь с голубым пером. И будто бы у голубя весь клектик волосатый. Там более в Вашем незабвенном романе, который я редко, но с наслаждением переписываю, как раз упоминается подобное происшествие, но не сказано, чем это туманное дело разрешилось. Поскольку роман Вы списывали с нашей дурацкой, но вполне фантастической жизни. И еще лучше, если Вы соберетесь да как нагрянете в наши благословенные места. Нас здесь семеро мужиков — восемь боеголовок, поскольку у Кудырина — две. Вы почитали бы нам свой роман. Приезжайте, дорогой Егор Иванович. К тому же некоторые слова у Вас обозначены неразборчиво и я, признаюсь, либо вынужден делать пропуски-лакуны, по-научному, либо вписывать отсебятину с кудыринской подсказкой. А это получается с матерным уклоном. Теперь о духовном. Позвольте с Вами не согласиться. Дух бывает либо святой либо тлетворный. Между ними в человеке всегдашая борьба.

ба — который пересилит. Если в человеке ничего возвышенного нет и не ожидается, то он обращается в тло. Если же человек в борении тщится возвыситься над прахом нашей практической рутины, то в человеке постепенно развивается душа, хотя ему это иногда обходится боком. Прочтите мое рассуждение о бессмертии. Не удивляйтесь, если иногда заметите некую разницу в моих письмах и фрагментах из книги жизни. Вообще я использую три стиля: разговорный, литературный и эпистолярный. Поскольку я в беседах убеждаю, в литературе намекаю, в письмах выражаюсь прямо. Так что простите мое либеральство, но о душе вы знаете мало, так как душа вырастает из земли. Вы же обитаете в городе. Вот и сообразите, что может вырасти из асфальта. Засим кланяюсь и благодарю.

- 37 -

Стрелка указывала в небо, надпись гласила: "Москва".  
Бродяга повел черной рукой:

— Посидим на жухлой травке?

Доцент, молчаливый и внутренне собранный, аккуратно положил на траву велосипед и сел рядом в позе лотоса.

— Как же, Андрей Ардашонич, — спросил Егор, плюхаясь поблизости. — Как же вы решились в такую даль? Нешуточное дело — в Китай на велосипеде. Такие пространства перекатить!

— Культурная миссия, — отрывисто возгласил доцент. — Дело жизни. Лекции. Меньше чем через полгода буду читать студентам Пекинского университета.

— Гуай — хуань — чай — кань — ший, — сказал Егор. — Здравствуйте, товарищ лектор.

— Вот именно. Свет с востока. Восходит заря. У них-туго с материализмом. Надо помочь. Новый тип мышления. Авангардная диалектика. Традиция, мой друг, мертва, но вечно зелено

юное древо модернизма.

Бродяга мрачно:

— Разобьют тебе собачью голову.

Доцент:

— Времена меняются. Собачьи головы снова в цене. Вам, как бывшему историку, полагается знать. Нужно решиться. Поступок, как и любовь, приходит однажды. Блаженны гонимые за правду. Соль земли.

Егор:

— Вы — соль? Вами правду солить — прокиснет, проплесневеет. Извиняйте, любезнейший Андрей Ардальонич, может, вы и науку всю как она есть, превзошли, может, и дальше вас никто и ничто не остановит, но сдается мне, зазря вы в Китай свое непокупное везете. Невыразимое, несоответствующее. Без вас они промаж себя разберутся. Вы же можете их только раскорить и в пучину междуусобиц и дискуссий ввергнуть.

Бродяга же, разохочась, даже протез полустироловый скинул, помахивает перед носом, подзуживает. Поезжай в Китай да им мысль кидай, просвети, неразумных, чтоб насчет нас не заблуждались, а уж мы без тебя, умноголового, справимся, разберемся в наших-те связях, родных пенатах. Доцент развел новался, расстрогался, чуть не слезы льет, жаль мне вас, пасомых, и грех это пастырский — стадо оставлять в небрежении и беспутице, так ведь долг велит и его не прейдеш. Милые вы мои, и ты, Егорша несущественный, и ты приблудный мудрец, не держите обиды в сердце своем, а уж с дороги, с белокаменной ли, с рязанских или иных пределов я отпишу вам цибульку и уж само собой с нарочным мандарином от самой китайской стены пришлю вам по подарку, чтоб помнили друга сердечна. Ох ты головая разбедовая, лепечет бродяга, ох ты головушка заплечная, возьми и от меня презент на дорогу дальнюю, вот этот протез, принайтуй его к раме велосипедной, и он тебе в пути в нужде сослужит пользу, спички ли зажигать, от разбойников ли отбиваться, так ли на прохожих недоумение нагонять, уж возьми его. Обнялись они в предвидении долгой разлуки, приладили доценту на спину рюкзак с теплым бельем, привязали протез к раме и долго смотрели вслед, как доцент

педалями накручивал по пыльной дороге, по горькому жару пустого пространства.

- 38 -

Вот и нам пришла пора расставаться, говорит историк бывший. Годы мои иссякли, мысли мои раздарены, разошлись на беседы, и приближается мне срок, как зверю, отдаляться от шума и крика и потихоньку забываясь между бодрствованием и дремой, ожидать последнего беспробудного сна. А ты, Егорий — бедоносец, вторую половину жизни пребудь в смысле, а не суете. И пусть тянетсѧ тебе длинное былинное беремя-время, въется, завивается, витийствует, словно пахучая стружка древесной строганины. И не злобствуй на людей, каратель им не выставляй, чтоб пребывал ти, будто не жизнь твоя течет, а житие длится. Всякая наша дань прошлому предоставляетсѧ, оно довлеет, креатура тягомотная, надо всеми нашими предстояниями в городу ли в огороде. И пусть не на затылке очеса располагаются, а подо лбом. Человеку должно уметь расставаться с прошлым. А как же картины и образы пережитого, что носим в себе, спрашивает Егор, неужто и это попусту и исчезает никуда бесследно. В небытие, воскликнул бродяга, в небытие все обращается. И страх моего поколения, и романтизм твоего. Некий философ вывел, что история всякой жизни есть история поражения. Однако, возразил Егор, есть две истории в каждой, как в монете. Орел — запечатленная история, решка — поучительная история, как случайно выкинул, как легла, так и пошла. Признать поражение потому, что жизнь конечна, нельзя, душа сопротивляется. Так расшифровать: порыв в иниции прорыв. А где же смысл, спрашивает бродяга. Если смысл прошлого в настоящем, тогда настоящее осмыслено исчезнувшим и, стало быть, обессмысленно. Если же смысл на-

стоящего в будущем, тогда и настоящее еще не осмыслено. Если же смысл настоящего в самом настоящем, тогда как его постыдить, не выходя за его пределы. Вы правы, дорогой учитель, но ваши ~~излишни~~ апории – система не моего исчисления. Вся наша психическая и рациональная жизнь суть укореняется в прошлом, мы же едим плоды дерева. Собственное единство человека, как говорит другой философ, должно вечно завоевываться на острие активности. Это проблема выбора, сказал бродяга. А сам человек – острие прошлого, всех прошлых достижений, потоков, людей, всего, что он может ощущать затылком. Но это же слепота, отчаяние, драма. Здесь некая контрадикция, возразил Егор, вы берете человека как закрытую систему, между тем он живет и умирает как открытая система. Верить другому – нет риска. Верить себе – настоящий риск, он всегда неоправдан. И мы ничего не знаем об отчаянии неоправданности. Отчаяние невозможно драматизировать, оно монологично, молчаще, в нем нет слов, чтоб быть услышанным. В отчаянии – тени невысказанного. Горе – индивидуально. Коллективное горе – маскарадно. Радость можно переживать сообща. Теперь рассудите, какова страшная бездна невысказанного человеческого горя. Поэтому у человечества никогда не будет подлинной истории, поскольку история событий без истории отчаяний – скорлупа плода, чей вкус нам неведом. Эх, Егорий Иванович, хоть и дотянул ты до седин, а как был, так и остался бесштаный санкюлот, извечный и довечный протестант, одинокий и неприкаянный. Ответствуй, где та рыба в той реке. Рыба съедена, река утекла. Где твоя ломаная рубня в головных ножнах. Твой замечательный дрессированный осел. Где кочевники за холмами и у каждого длинная тыкня с волчьим хвостом. Где те прелестницы, коих ты любил. А наш друг-психолог тоже, поди, до ногтей истлел за тридцать-то лет. Ты сам где, падан в цыпках. Под дверью подслушиваешь музыку, так она отзучала. В прошлом – тихо, ни всплеска, ни шороха. Пока не поздно, бери там диликан одноместный и мчи сюда. . . Чтобы летели и становились ветром разорванные в клочья годы. Нет, учитель мой многомудрый, вы же сами наставляли, что противоречия – стержень движений, на него все наши заслуги

и упущения нанизываются. Ах нет, Егорша, то была первая ступень познания, и я, отцепляя неосознанное от сознаваемого, сдвигал твои мотивы на твои цели. А ты бы мне не верил, милый, не доверял. И хоть в те годы был я молодше твоих нынешних, а все едино — старик: война состарила в один год, душа здрябилась, скжась, как газетка для подтирки. Зачем же вы на себя наговариваете, навираете. Неужто не помните чего светлого, ухарства какого или так, приятного возвышенного чувствования. Отчего, Егорий, как не помнить, все помним, да что толку. Мостиков-то между вами и нами нету, все сопрели, валятся, сыпятся, на щепу распадаются. Кричать с берега — разве что услышишь. Ты и посейчас чужой. Вникаешь в голоса из впереди, а мне они и вовсе бормотание. И хоть ни одна вещь не пропадает, все возникает из причины и в причину же обращается, хоть в бревне содержится дерево, а в ткани пряжа, а в словах переживания наши, все едино — наши причины — вне нас, и никто не может быть причиной самого себя. В памяти, напомнил Егор, мы все — причина себя. След памяти — свеча на алтаре. Кому возносим наши песнопенья? Оставь, сказал бродяга, ты будто бы поклялся служить символам. Как же, как же, живем же в мире символов, пропитаны ими, сочимся. А где вещи, люди, события? Эх, вздохнул бродяга, как только мордой в реальность ткнешься, так и видишь — платонизм, так и тянется проснуться от мокрого кошмара, да сил нет, засасывает, завораживает, туманом головушку крутит, заманывает, чтоб мысль какая не проклюнулась, и уже если случится, так она, голубушка единственная, как иголка в сене, — как ни сядешь, так и наткнешься. А вот и до городской заставы добрали, слава тебе, не заметя за беседой, вот уж и будошки из будок стеклянных высовываются: ну как, любезные, разрешили противоречия ума и сердца? Какое там! Одно речит, другое молчит, да все под сурдинку, тишком, разве ж это дело. Нет, согласно кивают будошки, разумеется, не дело. Однако на всякий случай пораспросрайтесь прокурора или его товарища. Он чичас книги разложит, палец послюнит, по стра-

нице поводит и все ваши противоречия как на ладони выложит —  
бери не хочу. Ну, спасибо, милые, за науку, так что как слу-  
чится, так мы сразу к ним, разрешайте, мол, вашество. А во-  
обще, до свидания. До свиданья, кивают будошки, и ушами  
кивера оттапыривают, улыбаются. И вот здесь мы расстанемся,  
говорит бродяга, ты ступай домой, а я подамся на вокзал.  
Велика она, матушка, из края в край мотанутся и то затос-  
куешь. Да и выскочишь по ходу возле столба, ногу подымешь-  
да и в лес, хватит, мол, насмотрелись на самое некуда. Не-  
ужто навсегда расстаемся, спрашивает Егор и едва не хлюпает  
в нос от жалости. Отчего же, весело так удивляется бродяга,  
вот вернется доцент из Китая, привезет гостинцев, земляных  
орешков, и я тотчас обнаружусь, вот тогда вместе посидим  
на завалинке, полузыгаем, слюну на бороду попускаем. А сам  
уж стоит на подножке комсомольско-молодежного, пустым рука-  
вом машет, прощается. Погоди, проводник, тормозни вороных.  
Ты, кричит бродяга, пересиливая перонные шумы, взогласи и  
поцелуй, не забудь роман дописать и хоть у тебя там высокий  
слог, как потертости на портиках, высвечивает, однако ж ни-  
чего. И не забудь про это, как ты ее и как она тебя. Неинте-  
ресно ж, мнется Егор, классики все рассказали.. Что ж из то-  
го, то было задолго до сексуальной революции, а теперь пе-  
риод реставрации. А кому неинтересно, тот пропустит мимо  
глаз.

- 39 - 1)

---

1) глава про любовь изъята самим автором /примеч.редактора/

Был ранний вечер. Пассажиры самолета — прозвище "караван-сарай", бортовой номер 85300 — скучали по куриной лапке, заели куском расстегая, долакомились ананасом, откушали кофею, утерли пальцы и губы душистыми салфетками и теперь отдыхали, едва ощущая сквозь дрему, как аэроплан мчит в сумрак, покачивая рессорами на воздушных колдобинах.

Егор не спал. Перед ним на коленях лежала карта республики, и он отмечал проплывающие внизу весы, чтобы не пропустить нужной, вовремя предупредить бортпроводницу. И как только она обнаружилась из служебного помещения, пошла между кресел, раздавая пассажирам гигиенические пакеты, если вдруг стоннет, Егор обратился к ней:

— Скажите, пожалуйста, далеко ли Заманиловка?

— Заманиловка? — переспросила прелестная молодая женщина со светлыми глазами и округлым лициком. — Заманиловки никакой нет. Верст через сто есть село, именуется Маниловка, то есть это у него название такое — Маниловка, а Заманиловки никакой не было и нет. А Маниловка точно есть, это село такое.

— Да, да, — поправился Егор и покраснел от просака в присутствии прелестной женщины. — Именно Маниловка... Вы не могли бы попросить капитана немножко сбавить скорость, чтоб над Маниловкой я совершил выкидыш?

— Извините, — сказала она, — но я должна проверить ваше разрешение на право свободного полета. Оно не просрочено?

— Ни в коем разе, — смущаясь, проговорил Егор и подал красную книжку. — Мое разрешение в полном порядке и со всеми печатями.

Прелестная молодая женщина внимательно посмотрела красную книжку и вернула Егору.

— Хорошо, — сказала она, — я попрошу капитана сбавить скорость верст за двадцать до Маниловки и открою вам люк. Вы знаете, что за бортом около сорока градусов мороза?

— Конечно, — ответил Егор, улыбаясь, — у меня с собой лыжная шапочка. Натяну на уши и быстро спланирую.

— Зачем вам Маниловка? — улыбнулась прелестная женщина. — Выбрасывайтесь в Конотопе, там памятные места. А Маниловка — скучнейший памятник: десятка два деревянных изб и ничего более.

— Там есть удивительный источник, — ответил Егор. — Водятся интереснейшие мужики. Сидят в лесу вокруг печки и обсуждают проблему беспорочного зачатия...

— О! — зарозовела прелестная женщина. — Это, наверное, сложно?

— Отчего? — пожал плечами Егор. — Это дело техники и технологии... Кроме того, эти мужики не могут разобрать некоторые слова в тексте, и мне нужно помочь им...

— Понимаю, — улыбнулась прелестная женщина. — Я догадалась: вы пишите роман. Теперь многие пишут роман, — вздохнула она, взглянув в лицо Егора чудными светлыми глазами. — И даль свободного романа я сквозь магический кристал еще не ясно различал. Вы любите Пушкина?

— Конечно, люблю, — сознался Егор. — И всю его семью люблю.

— Я тоже, — улыбнулась она так мило, будто высвечиваясь изнутри тонким светом любви. — И всех его предков люблю.

— Прекраснейшие люди! — подтвердил Егор.

— Так я предупрежу капитана, — сказала она, — а вы пройдите в багажное отделение, там люк выброса...

Егор снял с сетки чемодан, достал лыжную шапочку, простился с соседом, ничего не подозревавшим стариком-профессором, и прошел в багажное отделение, встал на четырехугольный люк. Вскоре вернулась бортпроводница.

— Что, — спросил Егор, — кеп не сильно ворчал?

— Немного, — сказала она. — Ему надоедает. В каждый рейс у нас пять-шесть фокусетов. Особенно старухи надоедают, капризничают. Вот подлети да подлети им поближе, им, видите ли, лень далеко планировать. А у нас тормоза изнашиваются. Какой вы смешной в этой шапочке. Забавный. Похожи

на Штирлица в Швейцарию. Я его недавно везла на юг.

— Как он? Не сильно постарел? — спросил Егор.

— Нет, все такой же собранный и умный, — сказала она. — Приготовились. Встаньте тверже. Прижмите чемодан к груди. Когда открою люк, задержите дыхание. Какой вы смешной!

— И вы тоже смешная, — сказал, улыбаясь, Егор. — Смешная и очень, очень хорошая.

— Все люди смешные, — улыбнулась она. — Смешные и хорошие. Приготовились. Привет Маниловке. Час!

Сбоку загорелась зеленая лампа, женщина нажала педаль, и Егор ухнул вниз. Он тотчас оказался в темноте и холода. Самолет, выбрасывая пламя двигателей и перелигиваясь бортовыми огнями, умчался вперед.

Егор, задержав дыхание, спустился на десять километров ниже, втянул ноздрями холодный воздух, осмотрелся. Под ним был лес, темный и теплый. Вспыхивала узкая-плотная речушка. Егор опустился еще ниже и еще, пошел кругами, всматриваясь в синие сумерки пристально, до слез в глазах. И вдруг увидел: чуть в стороне внизу сверкнул красный огонек. Егор, как с горы, прижимая чемодан к груди, пошел скользить к вершинам деревьев.

